

ОЛЕГ ЧЕРНЯЕВ

# НА ЮГЕ ЧУДЕС

СОДЕРЖИТ  
НЕЦЕНЗУРНУЮ  
БРАНЬ

18+

Олег Черняев

**На юге чудес**

«ЛитРес: Самиздат»

2012

**Черняев О.**

На юге чудес / О. Черняев — «ЛитРес: Самиздат», 2012

ISBN 978-5-532-06713-4

"На юге чудес" – уникальный роман талантливого автора Олега Черняева, написанный в стиле магического реализма. Это исторический эпос, повествующий о судьбе русских на Востоке, рассказанный языком мифа о сотворении мира. В романе чудным образом переплетается прошлое и настоящее. Казачья семья Толмачевых пять поколений живет в Софийске (городке–фортпосте на стыке границ Российской империи, Китая, Индии) – русском Вавилоне, в котором слилась вся судьба человечества, зажатого между двумя мифологическими чудовищами Смертью и Страстью. Содержит нецензурную брань.

ISBN 978-5-532-06713-4

© Черняев О., 2012  
© ЛитРес: Самиздат, 2012

«Ты и я одной крови».  
Редьярду Кипплингу – лучшему  
англо-индийцу от лучшего русского  
южанина посвящается.

Когда Смерть пришла в этот город, она вдруг почувствовала себя неловко, и ей вспомнились далекие времена, когда мир был молодым. Тогда не было дождей, и густые туманы, вползающие на холмы из долин, питали мир влагой, пахло сырой землей и травой, небо было высоким и молодо-синим. Всё вокруг веселило душу, и Смерти было неловко, потому что она не знала, зачем она нужна здесь, среди вечной весны, где всё так молодо и весело.

Но когда она увидела между огромных валунов, похожих на шершавые яйца, разбитую голову юноши, из которого утекала жизнь, она, с трудом ворочая тяжелыми мыслями, подумала: «Я старше старости» – и на этом успокоилась, поверив в то, что она зачем-то нужна здесь.

Вначале она бродила по сухим степям между пахнувшими едким кизячным дымом кочевьям патриархов, чьи тела от глубокой старости иссыхали настолько, что были похожи на птичьи тушки, спрятанные за густыми бородами. Возле них толпились многочисленные дети, внуки и правнуки, обычно шумные и крикливые, но сейчас притихшие от удивления. А патриархи смотрели прямо на Смерть спокойными прозрачными глазами, потому что они жили в первозданном мире чудес. В своих странствиях они принимали в гостях ангелов, чьи плащи вздувались горбом над сложенными крыльями, и вместе с ними ели сыр и мясо, они слышали с небес понукания Бога, а каждый переход открывал им столько новых вещей, что не было слов давать им имена. Для них и Смерть была очередным чудом, встретившимся в конце долгого пути.

Смерть ещё долго помнила коренастого строптивного патриарха с большой головой и опаленной огнем бородой. У него были крепкие руки-клешни, грубые и вечно обожженные руки кузнеца, и насупленный взгляд исподлобья. Устав таскать за собой по пустынным равнинам тяжелую наковальню, молоты и бруски железа, от тяжести которых на прекрасных глазах его ослов выступали слезы, когда дорога шла в гору, патриарх решил жить оседло.

Ни с кем не советуясь, он выбрал место у холодной быстрой реки, и там построил себе и домочадцам дом из сырой глины, а женщины его рода, борясь со скукой оседлости, разрыхлили полоску земли и посадили просо и ячмень. Этим поступком патриарх бездумно отверг многое: целый мир чудес, где по горам и равнинам бродили кентавры, на деревьях сидели птицы-девы с налитыми грудями, мир, где за каждым новым туманом открывалось новое чудо, о котором увидевший его не мог рассказать, ибо не было ещё слов, несущих в себе чудеса. Взамен он приобрел другое: сосредоточенное внимание оседлости, позволяющее всматриваться в немногие доступные предметы, отыскивая в них образ замысла, и ощущение непрерывного потока времени, протекающего сквозь тело и вымывающего из него жизнь. А когда возле его дома появилось несколько могил: одна женщина умерла родами, другую ужалила в пятку змея, рассерженная тем, что растущее поле ячменя разорило её нору, рухнувшая глыба задавила двух его внуков, когда они отбивали железную руду, отчего вскоре померла их мать – патриарх первым понял, что Смерть – это что-то постоянное, и решил узнать её получше.

Когда Смерть снова посетила его дом – умирала новорожденная девочка, которую сильно обгрызли крысы, пока её мать ублажала мужа, патриарх решил поговорить с ней, но смутился, не зная, о чем спрашивать, и пригласил Смерть к столу. Но тупая, туго соображающая Смерть не поняла его. Ещё не пришло время её обремененности делом, и она часто застывала в бесцельной, тупой оцепенелости, однако сейчас ей надо было спешить в край за горами,

где в новом шатре, освещенном сияющей птицей, умирал восьмисотсорокалетний патриарх, и поэтому даже не пытаясь слушать его, Смерть ушла.

Но большеголовый патриарх еще жил в блаженном неведении своих границ. Он разрыл могилы родных, собираясь поговорить с ними о Смерти, но увидев голые кости и сухие комки волос на черепах, был неприятно поражен, поняв, что это создание, которое ходит с неотвратимой монотонностью и всегда прямо к цели, не оглядываясь, остается, даже уйдя вдаль. Несколько дней он пытался поговорить с костями, но понял, что не знает слов, которые заставляют мертвых говорить. В разгорающейся жажде познания патриарх расколол одни кости молотом, раздробив их в пыль, а остальные отнес в мастерскую и накрыл шкурами, надеясь всё же подобрать нужные слова и поговорить с ними. Но никто не помог ему: ни близкие, которых он стал пугать тяжелым, задумчивым и давящим взглядом, ни кочевники. Они, умытые влагой туманов, забывшие свои могилы в великом просторе девственной Земли, и никогда не устававшие от чудес странствий, смотрели на него наивными, детскими глазами, и смеялись, не понимая его тревоги.

А следующий приход Смерти был ещё более загадочен. Она с тупым видом, отсутствия сомнения, прошла мимо дома к реке, куда ушел купаться молодой кочевник, приехавший помочь своему патриарху менять коз и овец на муку и кованые острия дротиков. Молодой кочевник не вернулся с холодной реки, и остальные кочевники ушли пасти стада вниз по течению, не очень горя, с привычной верой в чудеса, в то, что одно из них вернет ушедших, а патриарх впал в лихорадочную задумчивость, поняв, что Смерть может брать своё, ничего не оставляя взамен. Он принес Смерти дары, но она не пришла за ними.

Тогда патриарх решил нарисовать Смерть, чтобы, заключив в рисунок, узнать её. Смешав жир с сажей и соком давленных ягод, он принялся за работу. Пальцами прямо на стенах кузницы он нарисовал умирающего и стал рисовать идущую к нему Смерть. Так он открыл ещё одну особенность Смерти – всегда ускользающий облик, несущий загадку. Линия, должна воплотить Смерть в рисунке, всегда уходила в сторону мимо её неясной сущности, оставляя безжизненные, цветные полосы, похожие на Смерть не более чем послеобеденная сытая дремота. Патриарх изрисовал все стены кузницы, измазался жирной краской, в возрастающем отчаянии работал всю ночь, под конец нарисовал Смерть как черные пятна – так она ему вдруг привиделась, и понял, что нужен особый дар, заставляющий рисунки жить.

А на следующее утро, сонный и опустошенный, работая в кузнице, он раздробил себе молотом кисть руки, и, теряя сознание, успел увидеть вспыхнувшие черные пятна – дрожащие, жирные, как его краски, и неуловимые, как сама Смерть. Несколько недель, мучаясь от боли и жара, он думал, что Смерть придет за ним, но он выжил. Встав, поседевший, сильно постаревший патриарх, молча пошел в кузницу, замазал сажей все свои рисунки, разбил кости, раздул горн и ловко орудуя одной рукой выковал из плуга новое чудо – первый в мире меч, и так грозно потряс им перед родными, что они, уже признавшие в нем сумасшедшего, стали бояться даже в мыслях насмеяться над ним.

А вскоре он умер. Сперва его забыли люди, потом тупая, туго соображающая Смерть забыла его. Кости патриарха долго лежали в земле у реки, а когда река сменила русло, она вымыла их и унесла вниз по течению. Там, когда река пересохла, их увидели люди. «Это кости великанов» – говорили одни. «Это кости дракона» – говорили другие, ибо допотопные люди были исполинами, и их останки вызвали уважение у измельчавших потомков. «Мы нашли прах Адама» – неуверенно сказал мулла, и этим не пресек споров, так как никто не поверил, что первый человек был так груб и коренаст, и у него была изуродованная ударом кисть

руки. Позже, когда люди не верили ни во что, один жадный еврей отвез кости на мельницу, где их перетерли в костную муку и скормили её подрастающим породистым псам, отчего у них окрепли спины и лапы, а кал стал черным и твердым, как камень, и они поскуливали, выдавливая его из себя.

А разросшееся, беспокойное и деятельное человечество по следам патриарха всё чаще и чаще обращалось к Смерти. Чудеса пустынной земли были уже познаны, речь людей стала так богата, что не хватало вещей для всех слов, и она насыщалась празднословием, по пути родив ложь и фантазии, земля, к великому разочарованию, оказалась шаром, похожим на корзину, и теперь кочевники возвращались, встречая заросшие травой могилы и оставляя рядом с ними новые. «Нет такого чуда, чтобы вернуть мертвых» – в горестной опустошенности как-то разом поняли люди, всё чаще обращая взгляд на монотонную, нелюбопытную Смерть. Так закончилась молодость Земли.

А она не брала даров, не смотрела по сторонам и не понимала ни робости, ни надежды в лицах людей, обращавшихся к ней. А когда поняла, что люди обращаются к ней с одними и теми же вопросами, то перестала замечать их, всё больше и больше отдаваясь монотонному покою тупости. Нелюбопытная и угрюмая, она не замечала даже как менялись люди, особенно с той поры, когда стали идти дожди, и в небе засияли радуги после потопа, смывшего большинство чудес Земли.

Со Смертью стали хитрить. Богатый глава рода приказал заколоть у своего ложа раба, когда Смерть придет за ним, и раб умер вторым, потому что был молод и крепок, и, теряя кровь из проколотого сердца, успел увидеть, как стихла агония богача, и с последним выдохом изверг едкую желчь злорадства. Смерти подсовывали вместо себя головки лука, животных, любимых сыновей, статуи людей, сделанные так искусно, что только по холодному дыханию можно было узнать подделку, и если бы Смерть имела хоть крупинку воображения, она бы попала на крючок обмана, но Смерть была слишком несообразительной, чтобы отвлекаться на частности. Один царек глиняного городка, укрытого в тени финиковых пальм, который ходил в грубых медных доспехах и носил на себе столько золота, что иногда слеп от его сияния, отдал Смерти вместо себя своего брата-близнеца, одев его так же, и потом никто не мог понять, какое тело должно лежать в царской могиле. А Смерть уходила от них, всё ещё продолжая видеть два раздражающих ярких пятна медных и золотых бликов. Она почему-то не любила солнце и избегала его, и ей больше нравился старый, допотопный мир, укутанный туманами, поглощавшими солнечный свет, сырой, прохладный, и временами чем-то похожий на погреб. Она не любила юг, это огромное царство солнца.

Измельчавшие люди обладали большой фантазией. Они придумывали сказки и небылицы, нагоняя на себя страхи, и не понимали Смерть. Но и Смерть не понимала их, она вообще многого не понимала, да и кто мог бы понять людей, когда одни просили о жизни, как о милости, а другие призывали Смерть, веря, что она не придет, или придет за кем-то другим, спрашивали о Боге, об ангелах, о родителях, сулили ей совсем ненужные дары, в которых не было ценности и для самих людей, если бы они хорошенько подумали.

Богу и его ангелам, всё ещё понукавшим людей для своих неисповедимых замыслов, Смерть была интересна не больше, чем кухонный нож интересен для повара, занятого приготовлением сложного блюда, и они оставляли человечество со Смертью лицом к лицу. И оно, как умело, спасало себя от страха: вставляло рубины в глазницы черепов умерших, украшая Смерть; мумифицировало тела, содрогаясь от отвращения; воздвигало мавзолеи на могилах, надрывая народ непосильной работой; обманывало себя верой в воскресение; воздвигало храмы Смерти, путаясь в хитросплетениях и тумане религиозных доктрин; объявляло Смерть то мужчиной, то женщиной, и пыталось рисовать её неуловимый облик; верило в цепь перерождений; приносило ей в жертву части своих тел или пахнувшие страхом и сырой кровью груды человеческих тел с татуировками номеров; люди приписывали ей божественную мудрость и

могущество и смеялись ей в лицо на карнавалах, заканчивающихся пьяной рвотой и совокуплением; убивали себя; плакали, целуя руки врачей, этих подмастерьев Смерти; верили шарлатанам и безумцам. Всё было тщетно. Это существо с мудростью пустоты не интересовалось ни человеком, ни миром, ни Богом – она откуда-то знала о Боге, ни разу не подумав о нём, и единственным спасением от неё было уподобиться ей, но это и была сама Смерть.

А теперь Смерть, придя в этот город, вдруг почувствовала себя неловко, и ей вдруг вспомнились далекие времена, когда мир был молодым, и она ещё не знала, зачем она нужна. Вдоль мощеной дороги она прошла под железнодорожным мостом, окунувшись в его прохладную тень, и так войдя в город, пошла по широкой улице, называвшейся Таштрактом. Был жаркий послеполуденный час, город выглядел пустынным, и только воробьи и индийские горлицы, бродившие по пыльной траве, посматривали на неё черными глазами. Смерть шла по аллее карагачей, сводом сомкнувшей над её головой ветви, чувствуя, как растёт недоумение, которое в её голове не рождало мыслей. Слева, за невысоким кустарником с синими и красными листьями по дороге проехал автомобиль, потом еще два, справа тянулись старые четырехэтажные дома, до самых крыш заросшие виноградом.

Перед перекрестком Смерть остановилась и вдруг поняла, что смотрит вправо. Над домами в жарком мареве возвышалась грузная гора с плоской вершиной, и Смерть узнала её, вспомнив худого, жилистого Ноя – единственного человека, с которым она провела рядом долгие дни в раскачивающемся сыром мраке Ковчег.

Тяжелые валуны мыслей вздрогнули в ней, но не смогли пересилить веков покоя, и так, ничего не понимая, растерянно она шла вперед, уже увидев широкий перекресток и парк за ним, и желтое здание старой больницы.

Тут подул ветер, тихий, собирающийся с силами, но для Смерти он не принес облегчения от пустынной жары, а пахнул в лицо пустой жесткостью гор, ароматом степи и чистой пустыни, принес сгустившийся запах загорелой кожи всех этих людей, выживших здесь вопреки всему. В ветре зашептали разноязыкие голоса призраков, веками нежизни моливших об этом часе, смолкавшие перед шумом листвы, который набирал силу с ветром, вымоленным людьми, насыщенным ароматами сырой земли и травы и звучащим, как удары сердца всех людей, живших здесь и впитавших солнце.

И Смерть уже видела ветер как солнце, оно, блестя и переливаясь лучами, сияло в воде арыка, на вывесках торговцев и синих стенах торговой будки, тонкими золотыми нитями лилось в листву деревьев, насыщая её сиянием.

Смерти показалось, что по сияющей дорожке солнца прямо на неё идут трое мужчин, обнявших друг друга за плечи. С расстегнутыми на груди рубашками, и шлепках на босу ногу, они бесшабашно шли навстречу Смерти, с тем особенным светлым и лихим выражением рожденных в самом сердце Азии.

Когда они подошли поближе, Андрей Толмачев, который шел посередине, громко сказал: – Ну и рожа.

И они весело захохотали.

Когда в царствование Николая I русское продвижение через Великую степь на юг приостановилось, столкнувшись с горами Тянь-Шаня, и у подножия снеговых гор был основан чудесный город Верный, его высокопревосходительство генерал Дитрих фон Бюлов совсем потерял покой. Его тревога родилась в тот вечер на берегу Балхаша, когда покрытый холодным потом, пятясь на ватных ногах от рева тигра из тугайника, он начал понимать, что здесь не Германия, не Россия, и даже не Сибирь, а открылись врата какой-то новой страны, дикой, непокорной и пугавшей его. Он уверил себя, что не вернется живым из этой дикой страны, и старался пореже выходить из своего дома, пахнущего еловой смолой. Ночами в дом заползали черные, как уголь, сверчки, верещавшие так пронзительно, что гасли свечи, огромные, летаю-

щие тараканы, скорпионы и пауки. Они часто прилипали к потекам смолы на стенах, и фон Бюлов с отвращением смотрел на шевеление лапок этой дикой азиатской фауны, а боялся её с той поры, когда от жгучего укуса летающего таракана у него распухла кисть руки.

А здесь действительно было опасно. Не было ни войны, ни мира, и поэтому нападения можно было ожидать со всех сторон. На западе, в пяти конных переходах стояла кокандская крепость Тараз, откуда приезжали крепкие смуглые бородачи, смотревшие на ружья и пушки русских спокойными глазами работяг; на севере по холмистой пустыне бродили дикие кочевники, не верившие ни во Христа, ни в Аллаха; а что было на юге за снежными перевалами, нависающими прямо над крышами Верного, не знал никто. «На Востоке, за линией наших пикетов надо поставить крупный казачий пост, даже станицу, чтобы они прикрывали нас на этом фланге» – сказал на совещании офицеров его высокопревосходительство фон Бюлов, которому по ночам уже мерещилось, что в окна врываются тигры и неведомые дикари, пожирающие людей и скорпионов. «Вырежут их там» – подумал казачий войсковой старшина Николай Колпаковский, но не стал возражать, потому что ему вскоре обещали звание полковника и должность войскового атамана этого ещё безымянного края, и ещё потому, что он верил в своих казаков и знал, что они могут творить чудеса.

После совещания он встретил на улице идущего с поста наказного казака Петра Толмачева и рассказал ему о нелепом приказе, так начав великую главу в истории России.

– Много людей надо? – спросил Петр Толмачев.

– А когда нас было много? – ответил вопросом на вопрос Колпаковский.

А ночью затряслась земля, скрежеща и потрескивая, а когда её толчки стали срывать двери с петель и хрустнули окна, откуда-то снизу послышалось протяжное всхлипывание, как будто рыдал заточенный в утробе земли исполин. В казарме казаков подлетело вверх ведро воды, проломив доски потолка и крышу, и потом никто его так и не нашел, словно оно улетело в небеса. Разом погасли все свечи, и выпрыгивающие в окна люди увидели, как вспыхнули и засияли голубым светом их одежда и волосы, а тем временем в горах грохотали лавины и обвалы, а потом на Верный среди теплой весны стал сыпать снег – мелкий, искрящийся, висевший среди ярких звезд чистого неба. В доме его высокопревосходительства вылетел из шкафа богемский хрусталь и со свистом пули врезался в стену напротив, а большие настенные часы, сорвавшись с гвоздей, неторопливо облетели комнату, распахнув створки, как крылья, зависли над прижавшимся к ходящей ходуном стене фон Бюловым, тяжелым маятником тюкнули его прямо в лоб, подлетели к потолку и оттуда обрушились ему на голову. Когда генерала, без сознания лежавшего среди окровавленных шестеренок, отыскали, смыли кровь с седин и бакенбардов и перевязали голову, его высокопревосходительство пришел в себя и стал кричать по-немецки такое, что даже не знающие немецкого языка поняли, что старик окончательно спятил. Его погрузили на телегу, устланную кошмами, отправили на север и как-то быстро забыли.

Принявший дела Колпаковский решил было положить уже подписанный безрассудный приказ об организации станицы на Востоке под сукно, но через два дня после землетрясения, когда он отдыхал, в его спальню зашел денщик. «Там казаки собрались» – сказал он. Колпаковский поднялся с пола, где он лежал на бухарском ковре, надел папаху и вышел.

У калитки переминались молодые казаки, которых привел Петр Толмачев.

– Мы готовы идти, туда, на Восток, – сказал он Колпаковскому.

Наступило молчание. Колпаковский прошелся вдоль забора под пристальными взглядами притихших казаков, сел на скамейку и погладил усы, думая, что в этом диком поле каждый человек бесценен, что на днях надо ожидать нападения кокандцев, что с последним транспортом из Семипалатинска вместо подкрепления прислали попа и дьякона, что двух солдат,

ушедших в степь, вчера нашли мертвыми с содранной с рук, как перчатки, кожей и с сожженными до костей ногами.

– Идите, – тихо сказал он.

И молча вернулся в свою спальню. Прижимаясь к бухарскому ковру грудью, заледеневшей от холода подступающей тоски, Колпаковский думал, что мир изгоняет Россию из своих рядов и отгораживается от неё, потому что Россия есть сама в себе целый мир, больший чем оставшийся. Сблизься остальной мир с Россией, он исчезнет в русской Ойкумене, став её частью. Недаром апостол Андрей Первозванный, странствуя по Днепру и благословляя берега, не проповедовал славянам и даже не сходил с лодки, поняв, что сблизься он с этим миром, он навсегда останется в нём. «Я ведь не люблю свою жену, – думал Колпаковский. – Меня женили». Он прослужил двадцать пять лет в Петербурге, сумев уклоняться от туповатого, упоенного собой императора, участвовал только в двух походах – на Польшу и Венгрию, бессмысленных и ненужных, долгие годы видел одни болота, начинающиеся сразу за порогами дворцов, забыл родную станицу на Дону, и только сейчас, чувствуя старость, сумел вырваться на волю. Его окружала Вселенная гор и степей и высокого неба Азии, и он хотел уйти в этот вольный мир, но подчиняясь погоням на плечах и инструкциям из Петербурга, которые у подножия гор казались бредом, он обустроивал и вгонял в границы регламента хаос нового мира, с первого дня поняв, что всё будет тщетно. Но главное – войсковой старшина Николай Колпаковский знал, что он уже не тот, что был раньше: у него болели спина и ноги, надорванные бесчисленными маршами и парадами, на которые, как скот, гонял их увенчанный короной хам, он знал, что надломился за годы долготерпения в столичной сырости, у него уже не та душа, чтобы заседлать коня и уйти, как сделали это молодые казаки, увеличивая своим присутствием хаос свободного края. Шел вечерний дождь, в открытые окна влетал порывами ветер, тяжелый от сырости и запахов ириса и сирени. А когда дождь стих, в небе засиял полный месяц, и его свет, отразившись от ледников, осветил весь Верный и маленькую спальню Колпаковского так ярко, что он ясно видел извилистый узор на бухарском ковре, казавшийся ему дорогой.

Тридцать казаков во главе с Петром Толмачевым выехали из Верного ранним прохладным утром, и как только за спиной остались последние посты, они сразу забыли приказ безумного генерала, что надлежит двигаться на восток вплоть до китайских границ, потому что предпочитали не забивать себе голову глупостями. Никто, ни один человек не знал, где находится китайская граница, и вообще жив ли Китай, так как ходили достоверные слухи, что китайские города обстреливают люди с обезьяньими лицами, вышедшие из моря на железных кораблях (Обезьянниками китайцы видели европейские лица. В таком виде дошли до центра Азии вести об опиумной войне). Казаки решили двигаться на Восток вдоль бесконечно тянущегося горного хребта, не удаляясь на север, в необозримые пустынные равнины, навевавшие тоску своей монотонностью, но и не пытаясь перевалить через горы, чтобы не сгубить лошадей на ледниках и горных кручах.

Поход начался удачно. Казаки легко переправлялись через бурлящие ледяные реки, стекающие с гор, двигались вперед, огибая горные отроги, удалялись в степи, где весенняя трава скрывала всадников по пояс, и мир вокруг был красным от маков и тюльпанов, а иногда, если отроги гор были невысоки и пологи, взбирались на них, осторожно ступая след в след. В первый же день увидев стадо сайгаков, погнались за ними, и по казачьей привычке беречь порох и заряды, забили нагайками, обеспечив себя мясом. Вечером разбили стан у бурной реки, защищавшей их с тыла, выставили часовых и легли спать на земле, из опаски сжимая в руках оружие, а утром, под звонкий птичий гомон умылись росой, напоенной ароматами степных трав, и двинулись дальше.

Так они и шли. От налипавших лепестков тюльпанов и маков темнели бока лошадей, и когда казаки чистили их, руки становились черными, а под ногтями запекалась красная

мякоть, похожая на кровь. Они пьянели от запахов весенней степи, от простора, от подоблачной высоты отрогов гор, откуда видели, что необозримая зеленая Вселенная степи не имеет пределов, как небо над головой. Дневное пение птиц ночами сменял плач шакалов, скуливших до рассвета, пока казаки, лежа на земле, смотрели на падающие звезды, а бродившие между них стреноженные лошади пристально всматривались в темноту и порой вдруг фыркая сбивались в кучу. Но ни тигры, ни снежные леопарды не беспокоили их. Людей за весь путь не встретили ни разу. Этот девственный мир казался первозданным, как библейский рай, но следы присутствия людей были повсеместно: на каждом переходе встречались пепелища и следы юрт казахских аулов, уже откочевавших от предгорий в пустыню, тянулась вдоль гор бесконечная цепочка верблюжьих следов, выбитая тысячелетиями ступающих след в след караванов, каменные истуканы с холмов смотрели на казаков, а среди травы встречались то прохуdivшийся сапог, а то человеческий череп. Со скал за путниками следили нарисованные всадники, и казаки, подъезжая к ним, внимательно рассматривали искусно изображенные длинные тяжелые копыта и чешуйчатые доспехи, закрывающие и всадника, и лошадь, подозревая в древних тюрках Истеми-кагана новых противников.

Не ослабляя внимания, маленький военный отряд казаков двигался на Восток. Часто шли весенние дожди, не замедлявшие их движения, и погружаясь по грудь в мокрую траву, пугая дроф и фазанов, вспархивающих из-под копыт, всадники молча проезжали под призрачными сияющими мостами радуги. Долгая дорога нагоняла оцепенение, делала людей молчаливыми, задумчивыми. Цель, ради которой началось путешествие, как часто бывает в Азии, уходила все дальше и дальше, чем дальше идешь за ней, становясь призрачной и неуловимой, как облик Смерти. Все знали, что могут остановиться в любом месте и послать гонца в Верный с вестью о законченном походе, но среди казаков витала смутная упрямая идея, что мир сам даст знак окончания пути. Что-то неведомое, похожее на голод, заставляло седлать коней каждое утро и двигаться вперед, не зная, что принесет новый переход. На похudevших, измученных лошадях жалко было смотреть, но пока ещё ни одна из них не пала.

Однажды на переходе путников застал густой туман, спустившийся с гор. Их обволокло белое густое молоко, оседавшее влагой на одежде, волосах и шкурах лошадей, погасившее все звуки вокруг, и казаки продолжили путь, чувствуя безысходное одиночество. Не видя ничего, они доверились инстинкту лошадей, и, бросив поводья, молча ехали вперед, чувствуя, как ожидают в них далекие воспоминания и грустные мечты. Лошади повернули куда-то в горы и шли по невидимой тропе, с грохотом сбрасывая камни в бездонную неведомую пропасть. Долгие часы подъема оцепеневшие и забывшие человеческую речь казаки покачивались в седлах, пока наконец, лошади заржали и остановились.

Спешившись и осторожно щупая ногами сырую каменистую землю, казаки побрели сквозь туман и вскрикнули от ужаса, увидев, что на них смотрит бородатый бог Зевс, отлитый в бронзовую статую вдвое выше человеческого роста. Утерев холодный пот, они бродили дальше в тумане, натываясь на каменные стены и поваленные белые мраморные колонны, подбирая среди камней ржавые рукоятки мечей, а когда туман рассеялся, в печальных вечерних сумерках они увидели мертвую крепость неведомого народа. За разрушенными стенами сохранилась рыночная площадь с прилавками, где лежали мягкие заплесневелые связки лука, в сохранившихся домах, куда заглядывали казаки, в очагах клубились змеи, а стены были в бахроме паутины. Отдельные колонны возвышались вокруг невреdivмой прекрасной статуи. Они нашли амфоры, всё ещё пахнувшие вином и оливковым маслом и облепленные медлительными улитками. Казаки провели здесь всю ночь без сна, сидя у костра, оглядываясь в темноту и прислушиваясь к шорохам, похожим на шепот, а утром спустились по узкой тропе над обрывом и отправились дальше, так породив предание, приводящее в отчаяние археологов, сто лет спустя тщетно разыскивающих этот самый дальний форпост ойкумены элиннов.

Через несколько дней солнце, набрав силу, вдруг дохнуло на землю таким жаром, что раскалились удила во ртах лошадей и стали трескаться камни. Прямо на глазах осыпались тюльпаны и маки, желтели и ложились травы, а ветер понес в лицо зной и густые клубы пыли, забивавшие глаза. Только склоны гор оставались зелеными. Но казаки продолжили движение, чувствуя, что уже пройденный огромный путь заставляет их идти дальше. Обматывая лица платками, они ехали вперед по утрам и вечерам, пережидая полуденный зной в жидкой тени карагачей и рассматривая миражи, развлекавшие их.

– Чтоб тебя! – однажды вскричал Петр Толмачев, привстав на стременах и показывая нагайкой вперед. – Мы в западне!

Действительно, в жарком мареве проступили висевшие в воздухе снежные вершины, преграждавшие путь и уходившие на север. Мысль о том, что в конце пути они уткнутся в стену неприступных гор, наполнила казаков большей злостью и отчаянием, чем если бы они узнали, что нет конца их пути, и им, как цыганам, вечно суждено скитаться по земле.

Но, на следующий день, они увидели, что огромный горный хребет, вдоль которого они ехали, продолжает уходить на Восток, не думая поворачивать, а в него немного наискось врежется другой, островершинный и скалистый. Проклиная эти горы, понукая изможденных лошадей, казаки упрямо пробирались дальше, и к вечеру того же дня увидели на месте соединения горных хребтов какой-то провал, похожий на седло, расположенный высоко, но, как видно было даже издали, проходимый.

Тот неведомый рубеж, ради которого отправились в путь казаки, был перед ними. Это был знаменитый перевал Железные Врата – единственный путь, смыкавший степи и пустыни Великой Степи с высокими нагорьями Внутренней Азии и открывавший путь в Китай, в Тибет, в Индию. Казаки достигли его только через день, и, не останавливаясь, двинулись вверх по камням, истертым в крошево копытами караванов, карабкавшимися через перевал тысячи лет. В лицо им дул пронизывающий ветер, несущий крошки льда и холодную пыль, а весь подъем был усеян костями людей и животных, местами в несколько слоев. На широкой и пологой вершине перевала казаки нашли покосившуюся китайскую казарму и пост с двумя пушками. Пост был усеян мумифицированными телами китайских солдат, погибших от холода и обезвоживания. Чувствуя сострадание к таким же, как и они, служивым людям, даже после смерти не разжавшим рук, сжимавших допотопные фузеи, казаки похоронили легкие, съжившиеся тела китайцев, присыпав их камнями. И потом долго всматривались в открывшийся с поднебесной высоты мир желтых пустынных нагорий, целую Вселенную песков, огромных пустынь и бездну гор на юге, с каждым новым хребтом становящуюся все выше и выше. На этом перевале, где никогда не стихал сухой холодный ветер, дважды в день менявший направление, и порой сводивший людей с ума, нельзя было жить, но казаки поняли, что если поставить на перевале укрепленный пост, а внизу поставить станицу, то они овладеют этим рубежом. Заклепав китайские пушки, казаки отправились вниз, этим решением повторив маневр царя Бактрии грека Менандра и выиграв битву Российской империи за Центральную Азию.

В зеленых благодатных предгорьях под перевалом им приглянулась холмистая широкая долина между двух рек, окруженная дикими яблоневыми рощами. Одна река была горной и бурно несла свои ледяные воды по каменистому дну, а вторая – спокойной и неторопливой, она рождалась здесь же, из маленького озерца, бурлившего от подводных ключей. Возле тихой реки были какие-то четырехугольные холмики и прямые, как линейка, заросшие бурьяном валики, в которых легко признался план древней крепости, и казаки, сообразив, что это не кладбище, решили поселиться здесь же, к отчаянию будущих археологов сто лет спустя. Ночью, когда измученные долгим переходом путники спали, Петру Толмачеву приснилось, что над миром вознесся огромный прозрачный купол, который держала в руках небесная София – Мудрость Господа, четвертая, женская ипостась божества. Она сказала Петру, что воздвигается город, в который не войдет Смерть до последнего дня его. Проснувшись, Петр Толмачев не придал сну

никакого значения, поскольку с легкомыслием двадцатипятилетнего он и так знал, что никогда не умрет (что с ним и случилось), и не очень-то верил в сны. С присущей ему энергией и лихостью он ушёл валить растущие над яблоневыми рощами тянь-шаньские ели и сплавливать их вниз по бурной реке, по пути убедив казаков назвать станицу Софийской. Усердно стуча топорами, они поставили первые дома, и уже через несколько дней Софийская станица стала небольшим поселком из дюжины бревенчатых домишек, затерявшихся в глубинах Азии.

Казаки собирались, обустроившись и дав отдых лошадям, послать гонцов в Верный, чтобы получить подкрепление, провиант и выписать к себе жен и детей, у кого они были, но люди разыскали их раньше, чем они сами этого ожидали. Еще не было у домов дверей и окон, как однажды в полуполуденный зной, от которого прятались в норы даже скорпионы, зазвучал цокот копыт спускающегося с перевала каравана. Вскочив, казаки увидели маленький караван верблюдов, сопровождаемый десятком всадников, а грузный, с густой патриаршей бородой, старый караван-баши смело подъехал к казакам и напряженно посмотрел на них синими глазами, как будто пытался вспомнить, где он видел этих людей раньше.

Вечером, сидя у костра старый караван-баши – его звали Якуб – на хорошем русском языке, вставляя в него татарские, и казахские слова (за сорок лет странствий он побывал в Оренбурге, Тифлисе, Аддис-Абебе, Москве, Вене и Оксфорде) рассказывал, что англичане, разграбив прибрежные китайские города, стали захватывать каналы между великими реками, что призракная власть богдыхана на окраинах его империи рухнула, и теперь по ту сторону перевала царит хаос, окраины отвалились, каждый берет власти, сколько может, люди бегут, а сам слушал горестный голос, шептавший ему, что сбылось пророчество, и русские возвращаются на свою землю, и теперь их не остановить. «Если вы пойдете дальше за перевал, все объединится вокруг вас, и вы возьмете все земли до Гурджарата» – признался Якуб, но казаки не поверили ему, потому что тогда ещё они не знали о мудрости этого горного ария. Видя, что Якуб – человек достойный и надежный, казаки передали ему доклад Колпаковскому и письма родным.

Утром, из сострадания к казакам, обтрепавшимся в походе, как бродяги, Якуб подарил им ткани на одежды, и получив взамен подзорную трубу, отправился дальше, а казаки продолжили обустраивать станицу. Они разделили лучшие земли у тихой реки на участки и продолжили работы. Неугомонный Петр Толмачев, с первого дня ставший душой похода, теперь незаметно для себя превратился в молодого патриарха, слово которого было решающим. Без усталости носясь по станице, он указывал, где ставить дома, какие деревья вырубить, а какие оставить, чтобы их тень спасала от зноя, размечал места будущих садов на горных склонах и намечал позиции для лучших стрелков, если придется обороняться. Не чураясь никакой работы, Петр Толмачев приступил к рытью колодца, и только на заступ лопаты стала попадаться холодная голубая глина глубин, как он наткнулся на кладку гигантских яиц. Собралась вся станица. Только двое мужчин, покряхтывая от тяжести, смогли вытащить крапчатое яйцо из ямы. Когда его разбили топором, на свет вывалился мокрый зародыш дракона, покрытый редкими перьями и с костяным гребнем на голове. «Выброси его подальше, а яйца зарой, чтобы, упаси Боже, их папа с мамой не прилетели» – советовали Петру встревоженные казаки, но он отмалчивался в раздумье, и бережно, как родного, похоронил дракона и снова зарыл яйца. Встреча с драконом – одним из чудес золотой Азии – сильно повлияла на Петра Толмачева. Его бурная деятельность стала прерываться странными оцепенениями, когда он вдруг замолкал на полуслове и, словно замороженный, нахмутив брови, пристально смотрел в пустоту. Казаки стали подумывать, что их молодой атаман болеет или затосковал по своей невесте Ксении.

Бурно начатая постройка станицы замедлилась, потому что зной лета, набирая силу, стал подниматься из пустынь в предгорья, лишая людей сил. Молодые здоровые казаки, не выдерживая июльской сорокапятиградусной жары, отступали перед ней, в десять часов утра уже прекращая работу и расплываясь в поисках укромого местечка. По десять раз за день купались

в бурлящем озере, откуда выходили облепленные пиявками, прятались, где могли, но нигде не находили спасения. Не хотелось ни есть, ни говорить, ни шевелиться, и даже приостанавливался бег мыслей под опаленными сухими волосами. Люди словно растворялись в знойном мареве, становясь частью Азии, такой же монотонной и застывшей. Из глубины песков к станции приходили миражи, представляя то дрожащими, как студень, призрачными куполами, то разноцветными фонтанами, то гигантскими двугорбыми верблюдами каравана Якуба, но утомленные зноем казаки, уже изрядно отупевшие от монотонности лета, ничему больше не могли удивляться. Андрей Солдатов, двадцатилетний казак из Уральска, как-то в полдень вдруг увидел над холмами древнего городища дрожавшие в знойном мареве дома с белыми стенами и колоннами, близнецы построек мертвого города. Солдатов, не удивляясь, зачем-то побрел к миражам и, не чувствуя зноя, рассматривал незнакомые надписи на досках, прикрепленных к стенам, тюки, сброшенные на землю, смотрел на задумчивых ослов и людей в странных одеждах с голыми ногами, которые жадно пили из кубков разбавленное вино, страдая от зноя. Они макали в кубок пальцы и брызгали в горящий костер капли вина, принося их в дар неведомым божествам. А после Андрея Солдатова нашли без сознания после тяжелейшего солнечного удара, лежащего в собственной блевотине. Его отнесли в тень у реки, обмыли холодной водой, привели в сознание, и затем он несколько дней пролежал на полу в доме с мокрой тряпкой на голове, и никто не придавал значения его бреду.

Совсем неожиданно со стороны пустыни пришли, словно сгустились из знойного марева люди. С первого взгляда в них признали беглых крепостных, уже изрядно одичавших.

– Далеко вы забрались, – сказал им Петр Толмачев, чувствуя идущий от них отвратительный ему запах рыбы.

– От вас подальше, – хмуро ответили ему.

Казаки и беглые, посматривая друг на друга, пошли в тень акаций, где сели двумя полукругами, чувствуя невольную важность церемонии переговоров. Беглых было три десятка загорелых дочерна людей с выгоревшими волосами, уверенно себя чувствующих под невыносимым зноем, и Петр Толмачев, уже не удивляясь очередному чуду, смотрел на их богатые шелковые одежды, кушаки, серебряные рукояти шашек и нарезные английские винтовки у них в руках. Беглых привел Тарас – длинный, костистый малоросс с седеющими усами и голубыми выпученными глазами. С ним и пришлось разговаривать Петру Толмачеву.

– Идите к нам, – сразу сказал он Тарасу. – Тех, кто подойдет, поверстаем в казаки, а остальные пусть будут иногородними. Здесь Дикое поле, все можно.

– И шо, опять гнуть горб на чиновников и помещиков? – спросил Тарас.

– Казаки только Богу и царю кланяются, – ответил Толмачев. – Чиновники и помещики нам не хозяева.

И неожиданно для себя он добавил:

– Да и разве они могут быть здесь.

И ему поверили. Беглые молчали, не в силах сразу преодолеть застарелую привычку недоверия и настороженности. Среди них были даже бежавшие из Семипалатинска каторжники, бредившие ненавистью и мстостью, и свирепо смотрящие на казачьи лампасы, и это простое, решавшее все проблемы предложение ошеломило их больше всех. Беглые молчали, переминая в руках пояса и нагайки, пока не встал Тарас и одним взглядом не увел их к дальней роще тутовника у реки, где они расположились кружком и о чем-то заговорили.

«Ну, теперь начнется» – подумал Петр Толмачев, и действительно, не прошло и часа, как со стороны рощи, где советовались беглые, грянул выстрел, потом второй, третий. Казаки лавой, словно они были на лошадях, выхватив шашки, помчались к роще, и увидели, что беглые, разделившись на две группы, бьются между собой, и на усыпанной тутовником земле уже лежат несколько окровавленных людей. Тарас и каторжники сбились в тесную группу, плечом к плечу, и с жестоким оскалом, капая потом, выхватив клинки, стали отступать, когда

казаки присоединились к метнувшимся к ним беглым. В напряженной, наполненной взаимной тишине, где люди дышали ненавистью они, медленно пятясь, ушли из рощи, потому что никто из казаков не хотел умирать от руки этой сволочи, а беглые боялись Тараса, свирепо правившего ими не один год. Вскоре из-за тугайника послышалось ржание – там беглые спрятали лошадей, и несколько всадников помчались в пустыню. Длинный, как жердь, Тарас, обернулся и погрозил им нагайкой, а ему ответили свистом и неприличным жестом.

– Ну и хай с ним, – приподнимаясь с земли, сказал раненый.

У него выстрелом почти в упор были пробиты легкое и сердце, с каждым выдохом он выплевывал кровь, смердевшую порохом, и зажимая пузырящуюся кровью рану на груди, всё не умирал, а только бранился. Никто из раненых не умер (начал сбываться завет, что в город не войдет Смерть), хотя раны троих были смертельны и заставили их немало помучиться. До них страшно было дотронуться – так ужасно смотрелось развороченное мясо, облепленное сочным тутовником, но казаки рассудили, что если оставить их в роще, то они непременно умрут от зноя, и осторожно отнесли в станицу, где положили в пустом доме.

Совместные заботы о раненых и пережитая вместе битва – первая в этом бесконечном краю, где нельзя жить спокойно – быстро сблизила казаков и беглых. Под стоны и брань шести неумирающих раненых они быстро сдружились, потому что беглые уже давно утратили русскую покорность и медлительность, и были смелы и бесстрашны, как казаки, а казаки были молоды и обаятельны. Уже со смехом вспоминая битву и долговязого Тараса, они не могли наговориться, только сейчас понимая, как им было всем одиноко в этом затеряншемся на самом краю жизни мире жары, миражей и неведомых чудес завтрашнего дня. Казаки и беглые, пережившие здесь не одну ночь, когда над степью плыла кроваво-красная луна, а со всех сторон подступала тьма без единого огонька, с радостью смотрели на загорелые, обветренные, такие же, как у них, русские лица, говорившие на одном языке и понимавшие шутки и невзгоды друг друга с полуслова. Они все были дети одной страны. Казаки рассказывали о Верном и о своем походе, а беглые поведали, что они сбились в кучу в Сибири, куда бежали в поисках воли, а встретили хищных, как волки, сибирских чиновников и стражников, озверевших от безнаказанности, берущих взятки соболями и самородками золота, и для потехи охотившихся на беглых со сворами собак. Устав скрываться, они поверили набредшему на них пучеглазому Тарасу, который, не расставаясь с оружием, потрясал старинным Евангелием, рассказывая о блаженной и праведной стране Беловодье, находящейся где-то на юге. Они пошли за ним, потому что больше было некуда.

Тарас обладал странным даром: всматриваясь за горизонт, находить путь, свободный от плетей и унижений власти, и он вывел их в степи, в неопределенный клин пограничья между империями, и повел на юг. Но Азия оказалась слишком большой страной, страной бесконечного неба над горами и пустынями, и после двух лет скитаний, измучившись, и оставив не одну могилу в степях, они осели неподалеку, на озерах, где кормились рыбной ловлей. То, что раненые не умирали, а крепили с каждым часом, добавило радости. Водки не было, но вечером переполненные счастьем люди устроили борьбу, пели песни и танцевали, и все словно опьянели, особенно казаки, впервые за много месяцев увидевшие женщин, которые были среди беглых.

Утром, разделившись – в станице остались женщины, раненые и пять казаков для охраны – отправились в поселок беглых за их имуществом. Выехав на рассвете, они добрались до цели вечером следующего дня, хотя, понукаемые встревоженными беглыми, ехали быстро, без ночевки, пережидая только самые жаркие часы у реки, где к спящим казакам подходили пеликаны и фламинго, и смотрели в лица людей глупыми глазами. «Вот бы на драконе слетать, туда-сюда и готово» – погоняя коня, проговорился о своей мечте Петр Толмачев. К концу пути горная река, вдоль которой они ехали, стала мутной и медлительной, ленивой, потом распалась на протоки, питающие мелкие озера и болота в низинах. Это была внутренняя дельта, замкнутый в себе зеленый мир высоких, как деревья, зарослей камышей и печальных рощ плакучих ив,

растущих прямо из воды, где не смолкал комариный звон, цвел лотос, и среди бела дня был слышен рев тигров и леопардов. По тайным тропам среди болот, которые потом будут искать отряды Льва Троцкого, рыскавшие в поисках повстанцев Бориса Толмачева, казаки пошли вслед за беглыми по мягким, пахнущим прелой гнилью многометровым пластам камыша, слыша, как внизу, в своих ходах, хрюкают кабаны.

Безымянный поселок – два десятка глиняных домишек на холмах среди болот – встретил их тишиной и разрухой. Всё было разбито и разрушено Тарасом и его сподручными, уже побывавшими здесь. Могучий Тарас в ярости и тоске по утраченной власти выламывал двери из косяков, рвал ковры и кошмы, на которых остались следы его желтых зубов, свалил в кучу серебряную и медную посуду и растоптал её, превратив в тонкий слоеный лист, порвал одежду, а потом, стоя среди поселка, прокричал заклинание, и когда беглые стали собирать уцелевшие остатки своих вещей, вдруг со степи налетел холодный ветер и могучим, валящим с ног порывом унес с собой остатки вещей, вырвав из рук рубахи и серебряные наборные уздечки. Последним поднялся в воздух огромный персидский ковер, и захлопав полями, как крыльями, покружил над своей тенью, заставляя приседать лошадей, медленно и тяжеловесно набрал высоту и улетел куда-то за болота.

«Вот сволочь хитрожолая» – прокомментировали поступок Тараса беглые, не очень-то расстроившиеся потерей имущества. Насвистывая, теми же тропами, все выбрались из болот, на краю встретили гепардов и с хохотом свистели вслед стремительно убегающим собакокошкам.

А вернувшись в станицу, казаки поняли, что прежняя жизнь закончилась. Сюда могли прийти десять тысяч беглых и два полка казаков, и ничего бы они не изменили в жизни Софийской станицы – мира мужчин у рубежа перевала, но несколько женщин, пришедших с беглыми, изменили всё. Мужской монастырь без Бога, где людей объединяла вера в бескрайний простор Земли, был закрыт навсегда, стоило прошуршать в его стенах юбкам. Казаки, которые бродили раньше по станице голые, как Адам в раю, разговаривали, уже не слыша собственного сквернословия, и у всех на виду справляли нужду, забыв в одиночестве последние правила приличия, встретили Петра Толмачева приодетыми в заштопанные рубашки, вымытыми и причесанными, и по их смущенным, хитроватым лицам Петр понял, что порок, за который род человеческий изгнали из рая, чтобы он благоденствовал в этом пороке на Земле, уже пустил корни в станице. Теперь он понял, почему так спешили обратно казаки, проведя в седле без сна две ночи. Оставленный за старшего Семен Тарасов, молодой румяный красавец за четыре дня сильно похудел и побледнел, и докладывая, что ничего не случилось, и все раненые живы, улыбался, не в силах очнуться от счастливой оцепенелости, изредка оглядываясь на стоящую неподалеку молодую девушку, почти девочку, с русыми волосами и светлыми бесстыжими глазами.

– Что, взбледнулось, Сема? – сказал Петр и пошел на гудящих от усталости ногах в дом, чувствуя, что он бессилен перед этой силой женщин, перед которой отступили и Бог, и чёрт, и попытайся он бороться с ней, он повторит судьбу Самсона, пав к женским ногам и подолам.

В станицу пришла Ева в лице девяти женщин, грешная и удивительно простая и естественная, не понимающая, как можно жить иначе, кроме естества, простого, как циклы её лона, вносящие воздержание в любовь, ради которой она и жила. Ева не понимала мира мужских идей, рожденных агрессией самцов, была неспособна отягощать свой ум сложными построениями мыслей, но войдя в Софийскую станицу, поняла сердцем, что это её дом, а построившие поселок мужчины – это её мужчины. Источаемый ею аромат потек змеей по единственной улице станицы, обвился вокруг домов и остался здесь навсегда, кружа голову мужчинам и заставляя их, прихорашиваясь, идти толковать Еве всякие глупости, в которых слова не главное. В станице разом разгорелся пожар порока, питаемый дровами возбужденной плоти, и казаки, вернувшиеся с похода, не думая о сне и отдыхе, отправились бороться за женщин, отпуская грубые, похабные шуточки, а в душе чувствуя невольный страх перед таинственным

существом женщины. Петр Толмачев, этот молодой патриарх, тоже в ту ночь не мог уснуть, сидя в своем пустом доме перед крохотным огоньком светильника из плошки жира и скрюченной тряпки, и чувствуя наливающуюся тяжесть внизу живота, твердил себе, что отдающим приказанием не следует уподобляться простоте и порочной жизнерадостности низов, но воздержание возвращало в нем мучение, выворачивало из души страшного зверя-хищника, обнажая ту суть, которую только Смерть оставляла спокойной. Он ловил кружащих у огня мотыльков, обрывал им крылья и лапки и кидал в пламя, чувствуя в паленой вони чернеющих и трескающихся тел аромат Евы, и ему хотелось оседлать коня, построить казаков и разбивать им лица в кровь, сечь нагайкой до смерти, топтать, мчаться, выставив пики, и поднимать на них корчившихся от боли людей, детей, весь мир, всю Вселенную, так жестоко мучающую его желанием. Он чутко прислушивался к долетающим с улицы звуками порока – шагам, голосам спорящих людей, топоту танца и вскрикам, и от каждого женского голоса у него гулко билось сердце. Он лег наземь, прижимаясь телом к полу, перебирая пальцами и пытаясь думать о летучей кавалерии на драконах, летящих над водами на Париж и Лондон, и с радостью слился с землей, когда она, поскрипывая стенами дома, закачалась под ним, как огромная великая женщина, отдавшаяся ему. Он не сразу понял, что началось легкое землетрясение, которое никто в станице не заметил, потому что для счастливых дрожание земли не было слышно за вздыманиями и толчками, рождающими яркие пятна за черной пеленой забвения, а обделенные метались в своем желто-красном мире воспаленной похоти, и обрушья небо на землю, они бы и того не заметили.

Ещё не заскулили шакалы, испуганные землетрясением, как в дом Петра совсем неожиданно вошла высокая стройная женщина, желтые глаза которой ярко вспыхнули в свете светильника. «Вижу, атаман не спит» – с игривым смешком сказала она, а аромат её кожи и волос окутал вскочившего Петра Толмачева и стал сладко душить его, сжимая сердце. Она бы получила то, за чем пришла, если бы была сдержаннее, но распаленная домогательствами десятка мужчин, от вожделирующих рук которых она вывернулась, была так горяча и влажна, что сразу же дотронулась до Петра Толмачева, со смешком поправив ему чуб. Он вздрогнул от удовольствия, вдыхая её аромат, но прикосновение родило страх, и он вдруг выскочил за дверь и через миг умчался из станицы на неоседланном коне.

Хлестнувший в лицо ветер сумасшедшей скачки не спасал от её запаха, а огромный горячий мужской жезл Петра Толмачева с каждым скачком лошади рождал сладостные видения. В белых изломах ледников он видел взметнувшиеся к небу белые одежды женщин, а из ночной тьмы представало странное существо, которое был он сам, Петр Толмачев, почему-то обдирающий в кровь колени на бухарском ковре атамана Колпаковского, запутавшийся в чужих ногах, руках, вскрикивающий, как от порки, под аккомпанимент мяукающей в его глубинах кошки. Он вдруг вспомнил, что лошадь под ним – белая молодая кобылица с прекрасной длинной гривой, и, протяжно застонав, излил мужское семя, этим признав бессилие любой власти перед желанием человека, даже своим собственным.

Умывшись в тени у реки, чувствуя стыд, мешающий ему вернуться в станицу, он решил подняться на невысокую коренастую гору с плоской вершиной, на краю которой возвышалась острая, как игла, скала. Это был ненужный, зряшный поступок, но Петру Толмачеву, к которому вновь возвращалось желание после разрядки, а дыхание становилось все жарче и жарче, нужно было чем-то занять себя. И этим поступком, рожденным воспаленным вождением, он решил свою судьбу.

Эта коренастая одинокая гора возвышалась к северо-западу от станицы, стоя отдельной вершиной в стороне от горной цепи, и была безымянна, словно хранила в себе бессловесную молодость мира, и ждала, когда её назовут Крест Петра. Посматривая на нее, Петр Толмачев частенько подумывал, что неплохо бы подняться на вершину, и, обозрев окрестности, составить карту района, но в суете сиюминутных дел и забот всё откладывал эту затею на потом.

В свете луны, по пологим, усыпанными камнями и перевитыми зарослями арчовника склонам, он пошел вверх, поднимаясь в холодный разреженный мир высокогорья. Оглядываясь вниз, он видел крохотные огоньки станицы, напоминавшие о вспыхнувших глазах женщины, и, борясь с зудящим желанием, ускорял шаги.

Восход застал Петра Толмачева на подходе к вершине. У него от усталости тряслись ноги, от бессонницы болели глаза и голова, от подъема в неудобной позе ныла спина, и его тошнило от аромата высокогорных цветов, прекрасных на вид, но воняющих дохлой кошкой. Ему было очень плохо, но только его бычье упрямство, идущее с той поры, когда он отвергал зловонное молоко матери, заставляло его волочить ватные ноги. Наконец, когда все склоны ушли вниз, он увидел тот пейзаж, который на всю жизнь врежется в память его приемному сыну, Александру Толмачеву, когда Петр Толмачев приведет собирающегося покинуть дом юношу на вершину, чтобы посвятить в тайны Ноева Ковчега. Став уже царем, сидя в грязи окопов перед штурмом Константинополя, царь Александр Толмачев перенесет память в тот день, когда его отчим в наброшенном на плечи чапане и сбившейся набок казачьей фуражке бродил по камням вершины и бережно переворачивал потемневшие доски с летописью грядущего. А Александр, как замороженный, смотрел на тонущий в сгущающейся синеве огромный мир Азии, на виднеющийся внизу городок Софийск, и не слушал рассказа отца о том, как ранним утром, сдерживая рвоту от пропитавшего его зловония цветов, Петр Толмачев увидел на плоском поле вершины огромные доски и балки – темные и рассыпающиеся от малейшего прикосновения. Тогда Петр Толмачев решил, что это руины древней крепости, вроде мертвого города эллинов в горах, но гнутые гигантские доски с окаменевшими улитками и следами обрастания на бортах убедили его, что это останки корабля. Так он нашел Ноев Ковчег. Дрожа от утреннего тумана, Петр Толмачев бродил по вершине без особого удивления, потому что он никогда не сомневался в достоверности библейских повествований о потопе, о Ное и его сыновьях, и рассматривал вырезанные высоким худым Ноем на внутренней стороне Ковчега цепи рисунков, повествующих о долгом плавании, в котором завязались узлом прошлое и будущее человечества. Он обрадовался, как ребенок, увидев огромных, раздутых, как кожаные мешки, драконов, нарисованных высоко в небе над Ковчегом, и продолжил читать рассыпанные страницы книги в рисунках, переходя от древнего патриарха-кузнеца, потрясающего изобретенным им мечом перед ближними, к мраку Ковчега, в тесноте и сырости которого у людей случались приступы клаустрофобии, а потом к походу монголов-христиан на Иерусалим и к предательству крестоносцев. Забыв о времени, Петр Толмачев бродил между хаотично рассыпанными досками Ковчега и вдохновенно разглядывал рисунки о приходе варягов и о крушении Рима. Пестрая мозаика рассыпанных досок повествовала ему то о массовых жертвоприношениях ацтеков, то о гибели самозванца в Москве, изобретении хлороформа и олимпиаде в Берлине. Рисунки сопровождали выцарапанные ножом надписи неведомыми буквами, изобретенными Ноем в безысходной тоске плавания. Петр Толмачев внимательно рассмотрел Вавилонскую башню, но ничего не понял ни про трехтрубный крейсер, поднимающийся по Неве к Зимнему дворцу, ни про англосаксов в космосе, где уже были советские русские. Он обрадовался, как ребенок, увидев своего деда, Петра Толмачева, гнавшего Наполеона из России, как свинью из огорода, и казаков с калмыками, идущих по льду Ботнического залива грабить Стокгольм. Среди бесконечной череды рисунков часто встречались наброски неясной фигуры, линии рисунка не схватывали её облика – это была Смерть, молча вошедшая в Ковчег и прошедшая всё плавание рядом с Ноем. Но Петр Толмачев не смотрел на неё, а захлебываясь дыханием от радости держал в руках доску, где был изображен он сам, стоящий среди обломков Ковчега. Ни мертвый город, ни землетрясение, ни женская плоть не потрясали Петра Толмачева так, как сейчас ошеломила его реальность того, что он тоже часть великой истории, и ему нашлось место в летописи человечества. Он вскинул руки к небу, прошелся вприсядку, и закричал:

– Мы на юге чудес!

Ной, худой и жилистый патриарх, уже через несколько дней плавания возненавидел свой Ковчег со всем экипажем, а в глубине души и Господа Бога, погубившего род людской и придумавшего ему эту пытку. Жизнь в Ковчеге была сродни жизни в грязном мокром подвале. Ото всюду сочилась вода и непрестанно капало, в огромных темных трюмах стоял спертый, гнилой воздух, сырой настолько, что его можно было пить. С нижних палуб несло жутким зловонием скисающих припасов, и не смолкал вой измученных животных, не понимающих, почему страдать за людские грехи выпало им. Жизнь превратилась в бесконечную каторгу перебирания и выбрасывания кишасших червями, скисших припасов, откачивания воды, чистки трюма от липкого, как клейстер, кала животных и шпаклевки текущих бортов. Эта работа погружала людей в безмолвие и глухую беспросветную озлобленность. Когда они собирались в каюте Ноя, огонек светильника выхватывал из тьмы костистую худобу рук и ключиц, запавшие щеки, ввалившиеся глаза, а бороды мужчин и волосы женщин отсвечивали нежной зеленью плесени. Они почти не разговаривали, ели холодную пищу под аккомпанимент бесконечного дождя, которого уже не слышали, и возвращались в огромную гулкую тьму Ковчега, где всё время что-то протяжно трещало и поскрипывало. У всех болели ноги от приступов ревматизма и мучили фурункулы, которые жена Ноя лечила, привязывая к ним размоченные заплесневелые сухари. Только мокрицы процветали в Ковчеге, где они бурно размножились и огромными стадами ползали по его бортам и переборкам.

Снаружи, на поверхности, от бесконечного дождя пузырились воды, в которых плавали доски, деревья и взбухшие трупы людей и животных. Ной, выходящий из зловонной тьмы Ковчега под серую пелену дождя, чтобы подышать и собрать с палубы летучих рыб, убежал, когда подплывавшие сладкогласые русалки с необхватными налитыми грудями певуче спрашивали, почему Бог так жестоко обошелся с Землей. Однажды, уже промокнув до нитки, он собирался уходить, но увидел, что кто-то плывет к Ковчегу мерными спокойными гребками. Смерть вскарабкалась по скользким от плесени бортам, молча прошла мимо онемевшего от страха Ноя, решившего, что она пришла за ним, и залезла в приоткрытый люк. Не смотря по сторонам, она спустилась по скрипучему трапу и пошла мимо кладовых, стойл и клеток животных, мимо камбуза, где жена Ноя перешучивалась с невестками: «От этой сырости мы скоро превратимся в рыб. У нас вырастут плавники и жабры, а вы, девки, будете метать икру по миллиону икринок за раз. Так мы быстро размножимся», и где от осязаемой сырости взлетали с кухонного стола рыбы и ели мокриц на стенах. Она прошла мимо тянущих тележку с калом хищников сыновей Ноя и забила в маленький закуток на корме, где в переполненном Ковчеге раньше стояли клетки с кроликами, уже пошедшими на корм беркутам. Там её разыскал Ной. «Ты пришла за нами?» – спросил он. «Нет» – ответила Смерть, которая уже сделала свою последнюю работу: навестила дрейфовавшего на связке бревен изможденного человека, у которого от цинги выпали все зубы, и не в силах разгрызть пойманную рыбу, он, угасая, жевал водоросли. Так Ной стал первым смертным, поговорившим со Смертью. Она в своем тупом всеведении знала, что должна прийти на Ковчег и быть здесь.

Ной, сперва содрогавшийся при мысли о незваном пассажире, мало-помалу привык к ней и стал проявлять вполне объяснимое любопытство к Смерти. Он всё чаще и чаще приходил к ней в закуток, ставил на пол чадающую лампу и разговаривал. Это было весьма странное общение. «Ты хочешь есть?» – спрашивал Ной. «Нет» – отвечала Смерть. «Почему?» – спрашивал Ной. «Я уже ела» – отвечала Смерть. Путем долгих распросов изможденный дрейфом в грязи Ковчега патриарх узнал, что Смерть поела один раз, придя в этот мир, и будет сыта этой пищей до конца дней. Ной не удержался и спросил Смерть, когда он умрет, и она ответила, наполнив ему грудь иглами холода, а душу горестной опустошенностью. Но ходить к Смерти он не перестал, так как сделал ошеломляющее открытие: Смерть знала всё! Это тупое монотонное существо с первого своего дня знало судьбу всех людей от рождения мира до нового

взрыва Вселенной, это было утвержденное раз и навсегда расписание, по которому странствовала Смерть. Поэтому её нельзя ни обмануть, ни подкупить, потому что она творит будущее, которое неизменно!

Ной в приступах безысходной тоски нередко выцарапывал на стенах каюты рисунки о жизни в Ковчеге, чтобы потомки оценили его подвиг, а потом, возненавидев Ковчег до того, что разбивал о его борта парящих в сырости кальмаров, стал рисовать ножом сцены из прежней, допотопной жизни, когда пороки, за которые был казнен род людской, доставляли людям искреннюю радость. Теперь же, возвращаясь от Смерти с горевшей от её коротких, односложных рассказов головой, Ной стал зарисовывать их, чтобы не забыть и как-то упорядочить. На него нашло горячее испугание от развернувшегося космоса будущего, который извергала перед ним равнодушная, туповатая Смерть, и он посвятил всего себя записям. Он забросил все дела на Ковчеге, который выжил только инерцией заведенного им раньше порядка. Страсть заточила и усилила его способности, и когда рисунки уже перестали вмещать в себя будущее, Ной за один миг придумал алфавит и стал сопровождать их пояснительными надписями, совершенствуя их раз от разу. Рисуя и вырезая надписи, он пел о том, что запечатлевал, не задумываясь, сочиняя прекрасные песни. Ковчег изнутри покрывался цепочками рисунков и записей всякий раз, как Ной возвращался от Смерти, и как клетка в своих хромосомах хранит о себе информацию о своем будущем, нес в себе повесть о судьбе человечества, которое выйдет из его зловонного чрева. В горячечной лихорадке Ной даже не заметил, что Ковчег едва не погиб, когда отдрейфовал далеко на север, где дожди сменились мокрыми снегами, тучи замерцали сиянием солнечного ветра, а на палубе стала нарастать корка льда, от тяжести которой затрещал корпус, и лишь только ветер, который вызвали заревевшие в предсмертной тоске слоны, спас их, утащив на юг.

Когда Ковчег с грохотом сел на мель, ставшую впоследствии вершиной горы Крест Петра, Ной очнулся от пророческой лихорадки и, выйдя на осклизлую палубу, увидел, как расплзаются тучи, и маленькое и жалкое багровое солнце освещает его – живые, позеленевшие мощи – и его семью, выглядевшую ещё хуже. А Смерть даже и не думала выходить из Ковчега и смотреть, как отступает вода, а над раскисшей землей, загаженной обглоданной падалью и гнилыми корневищами, вспыхивают радуги – вначале одна, потом вторая, третья, и вскоре небо сияло десятками радуг. Когда земля подсохла, Ной, у которого один вид Ковчега рождал желание уйти от него подальше, зашел на корму к Смерти. «Кто найдет мои записи?» – спросил Ной. Ответ Смерти поразил его. «Не знаю. Он придет, но я его не знаю» – «Он что, не умрет?» – «Не знаю». Ной, долгие месяцы, как в бреду, выцарапывавший на дереве историю человечества, частью своей души был внутри этой истории. Он вдруг почувствовал, как в его сердце входит пророческий дар. С торжеством превосходства смотря на Смерть, он оттолкнул её – на стенах Ковчега больше не было свободного места, кроме как в этом закутке за её спиной, и нарисовал руины Ковчега и среди них молодого стройного мужчину в лампасах и с восставшим мужским жезлом. Это был Петр Толмачев. Его прапрапрадед, донской казак станицы Зимовейской, Игнат Толмачев, был сподручным Степана Разина и после поражения его резни-восстания на Волге скрылся в казачьих станицах в низовьях Яика, где занялся ловлей осетров и белуг. Петра произвела на свет столетняя старуха-знахарка, пропахшая змеиным жиром. Она осмотрела распухшую, посиневшую грудь матери Петра, из которой сочилась зловонная белесая жидкость и сказала: «Рожай скорее, будешь грудью кормить – рассосется, а так заживо сгниешь». И ровно через семь месяцев, видимо, слишком буквально поняв слова знахарки, она родила последнего, одиннадцатого ребенка – жалкого, тщедушного и очень беспокойного мальчика, который ещё в чреве царапал её изнутри, стремясь на свободу. Принявшая его повитуха улыбнулась, увидев открытые живые глаза ребенка. Но братья его невзлюбили и бросали ему в колыбель крыс. Крысы изгрызли колыбель, но ребенка почему-то не трогали. Он, беспо-

койная душа, выжил, вылечил мать, и ещё не умея ходить, ползал по двору, гоняя кошку, как будто готовился к грядущей схватке с тигром-людоедом.

Бойкий, беспокойный Петр понравился своему деду, тоже Петру, и когда мальчик подрос, дед не отдал его в школу, а отвел в свой дом, где стояли дубовые скамьи, на которых когда-то храпел Емельян Пугачев, а на полках сиял саксонский фарфор, награбленный в рейнских городишках дедом Петра, который мог взять в плен Наполеона, но плюнув плюгавому императору под ноги, помчался вслед за казаками грабить его обоз. Весь покрытый шрамами, Петр Толмачев был очень необычным учителем. Он знал все европейские языки, выучив их в разоренной Наполеоном Европе, и сперва обучил им внука, насытив его речь забористыми ругательствами союзных армий, и лишь потом стал учить его чтению, сложению и вычитанию. На уроках географии и истории он увлекался, слыша знакомые названия альпийских перевалов, пройденных с Суворовым, переходил на воспоминания о штурмах европейских столиц, и был так безудержно красноречив, что маленький Петр узнал, где самые лучшие в Париже бордели. От деда, Петра Толмачева, его внук, Петр Толмачев узнал, что Земля – шар, плывущий в великой пустоте, что Бог есть, что он однажды затопил Землю, но Ной спасся, построив Ковчег, что высоко в горах снег никогда не тает, и ещё многое другое, в подлинности чего он впоследствии убедился, повстречавшись со всем этим лично. Он приобрел разносторонние познания, иногда весьма специфичные и совсем ненужные в затерявшейся в прикаспийских песках станице. А вот рыбную ловлю – единственный хлеб уральских казаков – он невзлюбил с той поры, когда его ещё ребенком придавила до полусмерти выброшенная с лодки огромная белуга, с тех пор он даже не выносил запаха рыбы. Этот худой заморыш, которого для потехи били старшие братья, с годами вырос в ладного, красивого казака с беспокойным характером, и, благодаря урокам деда, стал лучшим наездником в станице.

Ему было пятнадцать лет, когда они вместе с дедом поехали в Гурьев на ярмарку. В многоголосом шуме на майдане, где звучали шарманки и гармошки, слоняясь за дедом, он смотрел, как гадатели-дервиши, рассыпая разноцветные зерна фасоли, прорицали будущее; как цыгане продавали вечно юных лошадей, которые каждые три года меняли зубы; шел по широкой площади, где ему предлагали купить цветок папоротника, пули, которые, как пчелы, висели в воздухе, поджидая жертву, столбовое дворянство с прямой генеалогией от Рюрика и поместье с тысячей душ где-то в губернии Гиперборея. К нему подбежала молодая цыганка в красных юбках и закричала в ухо: «Молодой, красивый, всю правду скажу!». Он отмахнулся от неё, но она взмахнула перед его лицом яркой, как павлиний хвост, шалью, и в её переливах Петр Толмачев увидел высокую черноволосую женщину с тугой грудью и золотым зубом. Она передевалась в каком-то тесном закутке. Не говоря ни слова, Петр отдал цыганке серебряный пятиалтынный, и она помахала перед ним шалью, в которой он рассмотрел все подробности женщины, особенно родимое пятно на ягодице, похожее на гроздь винограда.

– Кто она? – заметно волнуясь, спросил Петр Толмачев.

– Скоро, скоро, красавчик, узнаешь, – засмеялась цыганка, хлопнула его по мужскому достоинству и убежала.

Оглянувшись, Петр Толмачев увидел, что потерял деда. Он побрел вслед за цыганами, в сумятице ярмарки, похожей на веселое светопреставление, сталкиваясь то со старым жидом, торгующим игральными картами, продажными женщинами и каким-то зеленым варевом, приносящим удачу, то с великаном с серебряным кольцом в носу, боровшимся с мужчинами за десять копеек, проигрывающим им за рубль серебром и за три копейки показывающим свое гигантское мужское достоинство, на которое были надеты браслеты из фальшивого золота. Ему нравилось здесь, в веселом столпотворении, где продавали летающих курей и сквернословящих попугаев, где просили милостыню на французском языке, жертвовали на храм персидские туманы, продавали черную икру сразу баржами, а на стенках бани бегали тени дурных снов и мрачных предчувствий, которых изгоняли из сердец посредством волшебного фонаря всего за

копейку. Петр Толмачев с беспечным видом бродил по рынку, где его уже принимали за молодого жигана в казачьих шароварах, и уже какой-то бродяга подмигнул ему и украдкой показал шрам на горле. Порядком устав от мельтешения ярких диковинок, он набрел на огромный шатер, куда вползала толпа людей. Это был цирк.

За вход требовались деньги, которых у Петра Толмачева уже не было, но он обогнул цирк, пропорол ножом ткань шатра и нырнул в пахнущую сеном и грязным тряпьем тьму. Здесь слонялись нарядные, разукрашенные циркачи, принимавшие самоуверенного Петра Толмачева за своего, и он беспрепятственно побродил по задворкам цирка, рассматривая томящихся в клетках белых медведей и львов.

Из-за занавеса он увидел, как на арене кривляется клоун, плача дождевыми червями, которые тут же склевывал бродивший у его ног красный петух. Рядом с ним остановилось что-то шуршащее, и пахнущее сладковатыми духами.

Оглянувшись, Петр так и замер на месте, увидев высокую черноволосую женщину в цилиндре, неторопливо курившую папиросу, одетую в мундштук. У нее были темные глаза, черные брови, золотой зуб, и это была она, смуглая красавица, ожившая в переливах цыганской шали. Задохнувшись от волнения, Петр засмотрелся на её пышный зад, думая, что под юбкой скрывается гроздь винограда. Ему было страшно и хотелось убежать, но аромат женщины, предсказание цыганки и природная смелость преодолели страх, он протянул руку и прикоснулся к заду. Женщина обернулась и гневно, но с удивлением посмотрела на красивого подростка.

– Ну ты нахал, мальчишка, – сказала она по-французски.

– У вас там как гроздь винограда. Я видел, – ответил Петр на том же языке.

– Ты подсматривал за мной?

– Нет, мне нагадала вас цыганка.

Её звали Беатрис, и она была француженкой из Парижа. Её изнасиловали в тринадцать лет на берегу Сены, когда она нагой нимфой вышла из воды, два подвыпивших буржуа, разгоряченных виноградной гроздью и восхитительным чувством безнаказанности, порожденным очередной революцией, и с тех пор мужчины преследовали её везде. Они, молодые и старые, блондины и брюнеты, лезли к ней из всех щелей, тянули руки к её налитой груди и заду, и она принимала их, потому что не умела совладать со своей собственной горячей плотью, и ещё потому, что иначе бродячая, беспросветная жизнь цирковой наездницы выглядела бы для Беатрис такой, какой она была на самом деле – кошмаром. Ответы этого мальчика и его хороший французский язык удивили её. Она приподняла пальчиком за подбородок его лицо – Петру Толмачеву хотелось расплакаться, он чувствовал себя в её власти – а другим пальчиком провела по его красивым бровям и губам.

– А если я возьмусь за палку? – спросила Беатрис.

– Возьмись за мою, – ответил Петр Толмачев словами из очень хорошей книги.

Беатрис засмеялась, взяла его за руку и повела за собой. Они прошли мимо клеток и грязной брезентовой стены, где узкоглазая калмычка-акробатка крикнула им вслед: «Эй, мальчик, ей сто лет, и цирковой слон единственный, с кем она ещё не переспала». Они вышли во двор, и, держа Петра Толмачева за руку, Беатрис отвела его в фанерный фургон. Там она стащила с него одежду, поглядела на полные робости и обожания глаза Петра, и, сверкнув золотым зубом, повернулась к нему задом и показала гроздь винограда, приподняв длинную юбку. Петр Толмачев совсем смутился, чувствуя желание расплакаться и нервную дрожь, но Беатрис, улыбаясь, бросила его на лежанку и быстро и сноровисто разделась сама, колыша гроздью винограда в зеркале напротив. Он натянул на себя кружевное одеяло, под которое тут же нырнула Беатрис и стала терзать его ласками опытной шлюхи, но Петр Толмачев испытывал не удовольствие, а смущение от чужой надушенной постели, и особенно от голосов людей, слонявшихся возле фургона. Но понемногу он расслабился и ощутил страсть. Упругое, сильное тело наездницы

сдалось после первого натиска, и бесстыжая, всё познавшая Беатрис, проваливаясь в забвение, успела восхититься мужской, вулканической мощью нецелованного мальчишки, обуздавшего её своей силой. На всю ярмарку зазвучали бесстыжие вопли-стоны, и даже неожиданный рев некормленного слона, бродившего за цирком, не смог заглушить их.

Дед так больше никогда и не увидел своего внука. Когда ему, запившему со своими товарищами по итальянскому походу, Бородино и Малоярославцу, сказали, что внук спутался с французской циркачкой и ушел с ней, он только рукой махнул. «Пускай бесится. Толк будет» – сказал он и выпил за так хорошо начавшего внука вместе с ветеранами, которые нагоняли дрожь на обывателей изрубленными лицами и спокойными, бесстрашными глазами победителей. Они, прикуривающие трубки от блеска шашки и до сих пор презирающие императора Александра за то, что он струсил и не пустил их на Лондон, который они собирались сходу взять, переправившись туда на надутых бурдюках, вспомнили своих бесчисленных немков, полек, итальянок и француженок, тем чаще навещавших их во снах, чем ближе подходила Смерть, которую они совсем не боялись.

Мать Петра Толмачева ревела, как корова, а отец даже собирался проклясть сына, но дед его едва не избил. «Не тронь мальчишку. Толковый, побродит и вернется» – сказал дед. Больше Петра Толмачева не видели, но теплые ветры с Каспия, напоенные сыростью и лебяжьим пухом, приносили в станицу вести, что он странствует с цирком по Волге, став наездником-вольтижировщиком, от пламенного мастерства которого охали мужчины и вскрикивали женщины. Беспутный бродяга, укравший в станице самовар и пойманный на краже, спасся от порки тем, что рассказал, что Петр Толмачев в Москве выступал перед генерал-губернатором, и дамы бросали букеты под копыта его коня.

Петр Толмачев вернулся домой через три года, когда умирал его дед, Петр Толмачев, вместе с последними вздохами которого в доме запотели и заплакали холодными слезами шашки, а пуля в висевшей на стене винтовке расплавилась в стволе и упала раскаленной слезой, отчего в доме чуть не случился пожар. Дед, поживший буйно и беспокойно, и Смерть принял лихо: приказал ветеранам прострелить ему грудь, так как боялся быть погребенным заживо, насмотревшись в свое время, как в ямы бросали еще живых раненых, а вот пуль и пороха он не боялся. Обматерил священника, пришедшего отпустить ему грехи: «Я все свои грехи под Бородино искупил» – и успел скорчить рожу и показать язык идущей к нему Смерти. «Поздно пришла. Выиграли мы войну!» – выкрикнул он и умер с открытыми глазами, а через минуту Григорий Кубанский, потерявший глаз под Кульмой, выстрелил ему в сердце, наполнив комнату желтыми клубами порохового дыма, из которого вышел возмужавший внук, Петр Толмачев. «Орел ты, дед» – тихо сказал он, а уже изрядно выпившие ветераны хором затянули молитву святому Георгию Победоносцу, которого одного только они и почитали, считая за коня и пику донским казаком низовой станицы.

Петр Толмачев прожил в родной станице всего сорок дней, пока душа его деда скучала рядом, ожидая Страшного суда. Он жил в доме, где не выветривался кислый запах пороха, проводил ночи на скамье, где когда-то храпел Емельян Пугачев, но Петр Толмачев не спал, а смотрел, как в лунном свете мерцают шашки, оплакивая смерть хозяина, пока он стучит крышкой или ударами невидимых сапог ровняет доски пола. На поминках Петр Толмачев насмешил казаков, начав есть ножом и вилкой и иногда переходя на непонятную тарабаршину, бывшую цирковым арго, рассказал, что объездил всю Россию, оказавшуюся чересчур прохладной, зеленой до тоски, слишком много пьющей и населенной недалекоими, покорными и жадными людьми. В Москве Петр едва не зарубил генерал-губернатора, который домогался его, забросив адъютантов, банщиков и великого князя с огромными бакенбардами, с которым генерал-губернатор нежно целовался на парадах. В Кисловодске, выпив с драгунским офицером, они рядом прыгнули на конях через бездонную яму в земле, смердевшую тухлым, вонючим паром, и Петра Толмачева конь пронес над бездной, а офицера сдернула с седла когтистая

рука, высунувшаяся из пара. Бродячая судьба занесла его зимой в Архангельск, где он сильно обморозился, заблудившись в пургу между двумя домами, и только ржание его коня, вдруг заплакавшего и разбившего копытами стойло, спасло ему жизнь. Его растерли снегом и отогрели своими телами актрисы цирка, и он выжил, содрал с рук мертвую кожу, как перчатки, и отправился домой, потому что подошло время идти на службу. Его спросили о Беатрис, и он даже не смог вспомнить сразу, кто она такая.

Проводив в последний путь деда и бросив в его могилу горсть прикаспийской земли, сверкающей кристаллами соли, он словно продолжил его жизнь без забот, хлопот и печалей о будущем. Петр Толмачев уже понял тогда, что его дед был чужим в станице, и внешний мир рыбной ловли, мычащих на берегах Урала коров и станичных сплетен отступал перед его клокочущим внутренним миром, рожденным великой войной. И так же внешний мир захолустной жизни на Урале не достигал Петра Толмачева, не трогал его сердца, уже занятого смутным, но неотвратимым предчувствием будущего. Близкие как-то пытались занять его хозяйством, приручить к дому, но самыми пронизательными оказались безмозглые комары, тучами висающие над Уралом. Они даже не кусали его, чувствуя чужого. Дождаясь службы, Петр Толмачев играл на гитаре, соблазнил несколько жалмерок посмазливее, потерявших из-за него всякий стыд, карауливших его на скамейке у ворот и дравшихся между собой на потеху станице, а в последние дни пребывания в доме, сам того не зная, отбил у брата Бориса невесту Ксению. Его били десять старших братьев, полуживого и окровавленного спас от смерти отец, а три дня спустя Ксения, плача и целуя ему руки и сапоги, помогла ему забраться на коня, и он уехал на службу, решив никогда не возвращаться. Три года спустя, когда в Верном атаман Колпаковский сказал ему, что надо поставить станицу на Востоке, он загорелся желанием познать новый мир, обошел казармы казаков, где такие же молодые и дерзкие согласились искать неведомые рубежи и отправились с ним, не догадываясь о будущем, которое они играючи сотворят. А теперь, спускаясь с горы, и не зная ещё, что делать с пророчествами Ноя, Петр Толмачев думал, что всё-таки не напрасно он пустился в эту авантюру, но язык надо держать за зубами, чтобы казаки не пустили Ковчег Ноя, ставший огромным запасом сухих дров, на топливо для печей. Он вернулся в Софийскую станицу уже в темноте, по-июльски пыльной и душной, и, войдя в дом, сразу же уснул на полу, под визг шакалов, дравшихся на краю станицы за объедки.

А утром к нему пришла та самая женщина, что входила ночью, и легко, как будто они знакомы сто лет, заговорила с ним. Не переставая болтать, она подмела полы, протерла подоконники и напоила лежавшего в постели Петра Толмачева кобыльим молоком. В свете дня она не была такой поражающей, но Петр Толмачев сразу отметил, что она отменно красива, а её аромат, долетев до постели, пополз по его коже сладко щекочущими муравьями.

Её звали Лиза. Вешая на окно синие занавески, она рассказала, что девчонкой была отдана в прислугу в Москве, где приставила ружье к лицу важного министра-хозяина и выстрелила, чтобы не быть изнасилованной им ночью. Она бежала из Москвы, встретила лихого человека, за которого была готова умереть, и с ним пошла в Сибирь, где он оставил её. Она искала его, ждала, что он вернется, вместе со своим любовником, якутским шаманом, совершила путешествие в мир духов, разыскивая его, но встретила там только толстого министра с развороченным лицом, целовавшего ей ноги и всё благодарившего за выстрел, ибо жизнь столичного министра так грязна и омерзительна, что им и на этом, и на том свете брезгают. Министр не отставал от неё, причитая в раскаяньи, и помешал найти любимого, потому что шаман устал, и пришла пора возвращаться. Охладевшая и равнодушная, она прибилась к ватаге Тараса и ушла с ним, потому что ей было всё равно, куда идти.

– А драконов ты здесь видела? – спросил Петр Толмачев.

– Одного вижу, – засмеялась Лиза и показала на вздувшийся горбом под одеялом могучий жезл Петра, которого сдерживало только бремя его атаманства.

Он, в годы цирковой славы познавший столько женщин, что не верил, что сможет кого-то полюбить, уже был очарован и приворожен искусной Лизой. Она со своим шаманом-любовником не раз путешествовала в мир духов, и рассмотрев там прозрачные души мужчин, знала их лучше всех женщин. И уже в послеполуденный зной, от которого гнулись забытые на солнце стволы ружей, она истекала потом вместе с Петром Толмачевым на полу, играясь с его восхитительным драконом. Лиза, уже позабывшая, что она была робкой служанкой, боялась только женщин.

– Казаки говорили, что у тебя невеста есть? – переворачиваясь и хлюпая потными грудями, осторожно поинтересовалась она.

– Да так, одна сказала, что приедет ко мне.

– А какая она? – спросила Лиза.

Петр Толмачев показал ей на висевшую на стене икону, где босые ноги Христа вытирала своими волосами Мария Магдалина – красивая рыжеволосая женщина с изумрудными глазами.

– Точно такая же, только красивее, – пояснил он, заставив Лизу закусить губу от ненависти.

Петр Толмачев стал осенней страстью Лизы, ослепив эту умную сильную ведьму с шелковистой горячей кожей настолько, что она не видела очевидной правды: любовь к мужчине моложе её не имеет будущего. Эта красивая женщина, чьё дыхание пахло золотистым медом, желтыми глазами кошки смотревшая в мир духов, где она видела все земные страсти в виде уродливых нелепостей, паразитами висящих на прозрачных душах людей, тем не менее, оставалась обычной земной женщиной с ненасытным лоном и мечтами о доме и о семье, и с верой в предсказание цыганки, что она всё-таки сможет родить, но только от очень сильной страсти, когда земля расступится под нею. Она распалила оголодавшего Петра Толмачева настолько, что тот забросил думать о нелепом проекте создания летучей казачьей кавалерии на драконах, и забыл даже о сокровищах Ноева Ковчега, найдя в страсти полное забвение, растворявшее его кости после финального вопля, чего он не знал даже с Беатрис. Охваченный неутихающим зудом в одном месте от жарких прелестей Лизы, он весь жаркий август не выходил из дома, трамбуя землю мокрыми тряпками постели, насквозь пропахшей потом и влагой порока, и посылая сквозь синие занавески к небесам Азии кошачьи вопли женщины.

Но никто не обращал на него внимания. В тот месяц все так жили. Казаки, дорвавшись до женщин после месяцев воздержания, были ненасытны, и заразили своей страстью даже беглых мужчин, пришедших в станицу вполне спокойными, но теперь ни в чем не уступавших казакам. Потом вместе с Якубом проводя ночи за расшифровкой записей Ноя и перебирая в руках фотопластины, как четки, Петр Толмачев благодарил судьбу за это безумие, сохранившее его разум от сумасшествия, но тогда он не думал ни о чём, прислушиваясь в перерывах отдыха к тому, как в прекрасной долине воплощаются беспокойные сны молодых казаков. Ни днем, ни ночью не смолкали вопли, а встречая друг друга все выглядели смущенно и стыдливо-радостно. Софийская станица выглядела опустевшей и была похожа на поселок призраков, потому что люди напоминали о себе только звуками: смехом, который будоражил кровь, похабным пением, журчанием женских голосов и неумолкающими вскриками-вздохами. Осмелевшие сайгаки и горные козы среди дня забредали в станицу, заглядывали в окна без стекол и, флегматично посмотрев на разврат, шли жевать развешенное белье. Самая большая трудность – недостаточное количество женщин – была преодолена: по молчаливому согласию в станице установилась полиандрия, как оказалось, нисколько не смущавшая женщин, а только добавлявшая страсти, которая впоследствии всегда отличала жителей Софийска. Один Петр Толмачев по праву атамана имел постоянную женщину, Лизу, но даже она, оставляя его изможденным, иногда уходила по ночам и, возвращаясь, наполняла душный воздух желтым сиянием кошачьих глаз. Петр Толмачев ни о чём её не спрашивал. Все понимали, что происходящее

бывает недолго, раз в жизни, и то, возможно, только здесь, в глуши Азии, вдали от людей с их фальшивыми правилами приличия и скудным сердцем, и от властей с их законами и служащих им аппаратом насилия, и даже вдали от самого Бога, из этого угла казавшегося чем-то очень далеким и недейственным.

Всем хотелось жить в этом сладком забытьи и не думать, что жара скоро кончится, и как предупреждали беглые, что скоро из степей на севере прикочуют казахи, чтобы зимовать со стадами в благодатных предгорьях. Они, добровольно пошедшие в подданные белой царицы сто двадцать лет назад, теперь были озлоблены указом слишком просвещенного Александра I, отдавшего их под власть сибирских чиновников, которые и русских-то за людей не считали, и отвечали им за поборы восстаниями и набегами на казачьи линии, в ответ на которые казаки резали и жгли аулы. Надо было укреплять станицу и запастись едой на случай осады. Помощь, обещанная Колпаковским, так и не приходила, а разошедшиеся бревна домов ночами уже не поскрипывали, а скулили, как больные собаки, и к тому же в бурлящем озере завелись пиявки размером с руку мужчины, которые выбирались из воды и ползли в станицу, пугая женщин. А ещё по утрам людей стал будить не птичий щебет, а мерзкий клекот стервятников, круживших прямо над домами.

Петр Толмачев, совсем изможденный страстью, всё же нашел силы выйти из дома, когда среди ночи его разбудил позабытый шум дождя, первого за всё лето с весны. Он встал под теплыми густыми струями воды и почувствовал, как она стекает по его телу, напоенному ароматом Лизы, и собирается под ногами в душистую лужу, замерцавшую розовым сиянием. И в следующий миг, что-то смрадное, большое, легкое для своих размеров и воняющее мерзостью ринулось на него с небес и сбило с ног, разорвав когтями кожу до мяса на плечах и затылке. Петр Толмачев пополз в дом на четвереньках, отбиваясь окровавленными руками и пряча лицо от мерзкого орла-стервятника с лысой дряблой шеей, и оставляя за собой кровавую дорожку, кислый запах ужаса и выдранные у противника перья.

Так Софийская станица подверглась первому нападению. Потом, после боев с китайцами, бредящей ненавистью кокандской конницей, после осад города красными, белыми, восстаний против англичан, свинцовой компании и милиции, жители Софийска и даже прямые потомки основателей считали мифом предание о нападении орлов-стервятников, и только нашествие змей в первом конце времен заставило людей поверить, что не кончилось время чудес. А тогда Петр Толмачев лежал с содранной с шеи кожей и бредил в жару, и казаки посыпали ему раны порошком, отчего он рычал тигром, и все боялись высунуть даже нос за порог дома. Орлы-стервятники с клекотом врывались в окна, где их рубили шашками и выбрасывали мерзопакостные тела на улицу к стаям товарищей, терпеливо ожидающих людей у порога. Жгли драгоценный порох, когда отстреливаясь, бегали, накрывшись мешковиной, в сады за яблоками и виноградом, потому что голодали. Ветер нес в дома сладкий запах падали от клекочущих стай, такой мерзкий, что порой невозможно было удержаться от рвоты, поэтому часто эти прогулки были напрасными. Долгими ночами, когда спали по очереди под неумолкающий скрежет когтей по крышам, где поджидая людей, бродили стервятники, а раненые, которых уже было немало, бредили кошмарами, пропахшими птичьим пометом, люди гадали, что произошло. Вспоминали апокалипсические предсказания, толкуя, не случился ли Страшный суд и не настал ли конец времен. Беглые подозревали козни Тараса, умевшего ладить и с ангелами, и нечистой силой, грозились выпустить ему кишки и даже подозревали друг друга в смертных грехах. Пытались молиться, рисовали на стенах магические знаки, но всё было напрасно. Тысячи орлов-стервятников, нагрянувших в дождливую ночь, кружили над станицей, скользя по пыльной земле распластанными тенями, и их число не уменьшалось. Кроме птиц по станице бегали, задирая ноги на дома, шакалы и гиены, а прямо в щели домов ползли на людей жуки-навозники.

Лиза первой поняла, в чём дело, преодолев естественное человеческое желание свалить вину на других. Она вышвырнула под когти стервятникам провонявший похотью ком тряпок,

бывший её с Петром постелью. «Мы в своем разврате превратились в падаль! – кричала она. – Стервятники просто видят, чем мы стали, и собрались здесь, прилетев на нашу вонь». И ей поверили, увидев, как жадно набросились падальщики на постель, и, растерзав её когтями и клювами, сожрали за миг. В осажденных домах, где сучивались люди, все молча выбрасывали наружу остро пахнущее потом белье, кормили терпеливых и задумчивых стервятников майками и кальсонами, организовали небезопасную экспедицию за семьдесят шагов к горной реке, откуда принесли двух исполосованных когтями окровавленных раненых и сорок ведер воды. Толкаясь в тесноте домов, вымыли стены и полы и помылись сами, стараясь не замечать на телах других исцарапанных спин и пятен насосов, уже понимая, в какое зловонное болото они провалились, ступив на прекрасную и милую лужайку удовольствия. Никто никогда не признался Лизе, что она права, но стоило высохнуть на земле лужам воды от омовений, как стервятники сразу расправили крылья и улетели из станицы огромной клекочущей стаей, а гиены и шакалы затрусили прочь, в горы и в степи.

Робкие, озирающиеся по сторонам люди, решившись выйти из домов, осмотрели оскверненную Софийскую станицу. Дома, земля и деревья были усеяны крапчатым пометом, на котором впоследствии хорошо росли в огородах помидоры и баклажаны, ветер кружил целые вихри перьев, а птичьих тел было столько, что мужчины только через три дня перестали сбрасывать их в горную реку. Счищая птичье дерьмо с крыши, казак Солдатов поскользнулся и упал с конька, сломав ногу, но даже это не прервало работу, до того всех мучил стыд. Когда станица приобрела приличный вид, работа не остановилась: начали копать защитный вал, выбрасывая из каменистой земли дождевых червей и изъеденные ржавчиной наконечники стрел. Работа не остановилась, даже когда вырыли разрубленный череп ребенка с белоснежными молочными зубами. Люди наказывали себя за сладкие грехи распутства, изнуряя непосильным трудом. А ночами спали под открытым небом у костра, потрескивающего от летящих в него жуков и мотыльков, и не желали возвращаться в дома, где темнота будила зловонные воспоминания об осаде стервятников.

Когда ров был вырыт, и окраину станицы украсила крытая соломой сторожевая вышка, на которой следующей весной свила гнездо пара аистов, решили устроить облавную охоту, и только начали ранним утром седлать полудиких казачьих лошадей, как неожиданно, после трех месяцев одиночества с запада послышался топот копыт, скрип нагруженных телег, и зазвучали голоса – русские голоса! Совсем ошалевшие от радости казаки и беглые, бурно ликуя, обнимали пришедших из Верного казаков, помогали выгружать с телег невиданную роскошь – ведра, топоры, бухты веревок и сапоги, и многие другие предметы беспокойного, пограничного, но все же домашнего быта – сгибаясь, несли мешки с зерном и на ходу разговаривали и целовались со старыми друзьями, наконец-то нашедшими их в великом краю забвения.

Через несколько дней Петр Толмачев поднялся на перевал Железные Врата вместе с десятком казаков и заступил на пост. Он поднялся на седло перевала первым, встретив восходящее солнце раньше идущих за ним казаков, раньше жителей Софийской станицы, далекого Верного и задолго до спящей во тьме огромной России, невообразимо далекой, но протянувшей золотые нити прямо к его беспокойному упрямому сердцу. Холодный пронизывающий ветер заставлял его шуриться, но с поднебесной высоты он засмотрелся на огромные желтые равнины за перевалом, тонущие в синей дымке, и ещё светящиеся точки китайских селений, за которыми, как он знал по нелепой карте, привезенной из Верного, высосанной из пальца географами Генерального штаба, находятся безбрежные пустыни и восемь горных хребтов (число восемь очень нравилось престарелому главному картографу Генштаба, вот он и нарисовал восемь горных цепей), за которыми находится Китай, где чтут драконов и знают их повадки.

Ему даже не хотелось оглядываться на Софийскую станицу – уютный разросшийся поселок, иногда порой ошеломлявший его своими новшествами. Расщедрившийся Колпаковский,

не дочитав полученного донесения, понял, какое великое дело они свершили, бескровно присоединив к империи благодатные земли размером с Францию, Испанию и Италию вместе взятые, и выделил на основание станицы две сотни казаков с женами и детьми, у кого они были, и ему, молодому патриарху, теперь приходилось разбирать споры за лучшие земли в долине. Уйгурские купцы нагрянули вслед за подкреплением, внимательно прощупали казаков жирными лоснящимися глазками, и, сделав свои выводы, разнесли слухи о спокойной и надежной жизни под властью России, и этот девственный мир тотчас наполнился людьми. Вечерами основатели Софийска слушали рассказы казаков из Верного об их путешествии, а днями к ним приходили одинокие бродяги или прибившиеся к бесконечным караванам целые семьи с узлами скарба и жалкими лицами беженцев.

«У вас лучше» – отвечали казакам узбеки и уйгуры в халатах и остроносых туфлях, калмыки и монголы, и молчаливые русские старообрядцы с Тибета и с Алтая, как все, бегущие от кровавой смуты в разоренном войной Китае. Они селились на местах, где им указывали, быстро превращая этот затерявшийся в глуши Азии форпост Российской империи в экзотический, нарядный поселок. Пришла даже большая семья неведомого молчаливого народа со своими яками и престарелым жрецом в черных одеждах, каждое утро певшим надтреснутым голосом прекрасные гимны и размахивающим плащом с вышитыми на нем белыми свастиками. Казаки принимали всех, руководствуясь не инструкциями давно уже потерявшего над ними всякую власть Колпаковского, казенно провозглашающего, что «перевал надо держать, а инородцев принимать лаской», а человеческим чувством сострадания к беглецам и велением великих русских сердец, понимающих без слов все народы мира. С новоприбывшими казаки жили дружно, навещая их глинобитные прохладные дома, получая ценные советы, как бороться с жарой и ядовитыми насекомыми, и вместе посмеиваясь над китайским лекарем Вэнь Фу, притащившимся со всеми и в три дня исцелившим сломанную ногу Солдатову, а теперь запившего от тоски, потому что в станице не было больных. Дети казаков, сдружившиеся со своими сверстниками из пришлых, заговорили на дичайшей, нелепой смеси языков, и полюбив китайскую кухню, охотно стали есть жареную саранчу, несмотря на побои родителей.

Нахлынувшая со всех сторон действительность заставила Петра Толмачева забыть на время о Ноевом Ковчеге и о запланированной экспедиции за птенцами драконов, потому что фантастичность окружающего мира порой грозила его разуму. Караван-баши ежедневно проходящих мимо караванов, видя в нем главного, важно раскланивались и одаривали его серебряными браслетами, тканями и ненужными халатами, жаркими и сиявшими как хвост павлина от золотого шитья. Петр Толмачев раздавал подарки казакам и стал брезговать караванами с тех пор, как заблевал все углы дома, поняв со слов китайца, что странные скрюченные рыбки в солоноватой ухе, почтительно поданной ему китайскими купцами, были человеческими эмбрионами. Иногда ему хотелось отвести душу ругательством и закрыть перевал, заказав в станицу путь чудесам, приходящим то в виде негаснущих, тонких, как карандаши, фонариков в домах уйгуров, то оживающих на шелке вышитых драконов, показывающих красные раздвоенные языки, то прохладных ручных змей китайского лекаря-пьянчужки, в жару обвивающих ему голову, чтобы облегчить муки похмелья.

Но люди, приходившие из-за перевала, были людьми честными и любящими труд, и их принимали, не чиня препятствий, но честно предупреждали, что недолго будет длиться эта вольница, и придет время, когда надо будет платить налоги белому богдыхану Николаю Павловичу и признавать его законы и власти, от которых самим житья нет, и при этом сами же казаки надеялись, что это время не придет никогда, и их забудут в этом чудесном мире. Здесь у них не было никаких дел кроме охраны перевала, наполнявшей их жизнь хоть каким-то смыслом.

Лиза первая решила засадить улицы гранатовыми деревьями, и каждый саженец, посаженный в её руках, жил вечно, до последнего дня, и отличительной чертой Софийска стали вялые сморщенные плоды на зимних улицах, усыпанных красными гранеными зернами. Она же посо-

ветовала покорным беженцам засадить земли у дувалов кустами ежевики, а по стенам домов пустить лозу винограда, который впоследствии рос так хорошо, что сотню лет спустя дотянулся до крыш шестнадцатизэтажных домов. Уже охрипший от бесконечных бесед с купцами и пришельцами, Петр Толмачев порой совсем забывал о ней, но Лиза видела, что вся горячность его сердца отлила к мужским делам, и не очень огорчалась, тоже по-своему благоустраивая станицу, и словно не замечала женщин. Она не считала их за людей, увидев в свое время, как невесомы, жалки и тщедушны женские души, похожие на куриные шкурки.

Но однажды Лиза не выдержала. С тяжелым взглядом, полным желанием, вся влажная от пота и внутреннего жара, она отбросила лопату, и тяжело дыша от послеполуденной духоты, пошла искать Петра, чувствуя на своем теле взгляды мужчин, а в животе сладкую тяжесть. Её вырвало желчью, когда рядом с ней прокатился осклизлый клубок молчаливых змей, но отвращение и страх не остановили распаленную Лизу. Неожиданно в послеполуденном зное тревожно закричали птицы, напомнив о нашествии грифов-стервятников.

Она отыскала Петра Толмачева, уснувшего в тени карагачей, и вскрикнула, увидев возставшую могучую плоть спящего мужчины. Петр Толмачев, разбуженный не столько вскриком, сколько мутным, нелепым сном, где он глотал яйца драконов и через рот извергал в Божий мир змей, пугавших людей до женского вскрика насилуемых дочерей Евы, посмотрел на Лизу, пахнущую загорелой, жаркой кожей и желанием. «Иди ко мне» – в какофонии тревожного птичьего гомона сказал Петр. И Лиза, бросившаяся на Петра загнанным животным, в желто-красном забвении наслаждения возблагодарила далекого и забытого Бога за то, что она женщина, надсадными воплями кошки и потоком нежнейшего сквернословия, и не смолкала даже тогда, когда, как мячики, запрыгали допотопные валуны, не умолкала, когда с треском рушились дома и их обломки тут же подлетали в воздух от свирепых сотрясений, вопила, когда толчки земли вышвыривали до срока птенцов из гнезд, и они, слившись в одно корчившееся, как от пытки, существо, не разжимая объятий, сползли в холодную мокрую глину глубин развершейся земли.

С того дня общие угрызения совести объединяли Петра и Лизу не слабее страсти, родившись в ту минуту, когда они грязные, как свиньи, вылезли из открывшейся трещины, и увидели ужасающие опустошения, нанесенные сильным землетрясением, причиной которого, они не сомневались, была их страсть. И перед самой своей Смертью, породившей слезливую вакханалию в Софийске, Лиза всё же улыбнется, вспомнив, какой дорогой ценой сбылось предсказание старой цыганки, умолчавшей, что ценой рождения её ребенка будет камень на сердце, который не оставит её даже в призрачном и сонном мире мертвых грешников, куда она попадет надменной победительницей старости. Но тогда они бродили среди развалин, никого не удивляя своим грязным видом и кровавыми царапинами, переступая через вышедших из нор змей и жмущихся к людским ногам перепуганных шакалов, вопивших вместе с женщинами.

Было немало раненых, наградивших доктора Вэнь Фу работой на много дней вперед, но к счастью никто не погиб. Однако Софийская станица была разорена до основания. Ещё несколько дней после землетрясения земля кишела змеями, не возвращавшимися в норы, а с горных склонов долго тянуло душистым запахом гниющих фруктов, осыпавшихся с веток при толчках. Возле бурлящего озера было невозможно стоять, потому что водная гладь вдруг стала лопаться пузырями, смердевшими тухлыми яйцами. Но несмотря на то, что узбеки и уйгуры и особенно китайский лекарь уверяли казаков, что землетрясение такой силы, которое корежит горы, бывает раз в семьдесят лет (что и случилось в двадцатом веке, разорив Петра Маленького), судьба Софийска висела на волоске, потому что напуганные неистовством земли казаки склонялись к тому, чтобы уйти в Верный, где и так людей не хватало, а воды и земли было в избытке. Терзаемый муками совести, Петр Толмачев молчал. Он пал духом и избегал людей, с тех пор как убедился, что драгоценная кладка драконовых яиц расплющена сдвинувшейся землей, и от его восхитительных надежд осталась только перетертая скорлупа. Лизе, понявшей,

что её великое путешествие за ребенком завершено, было всё равно – уйти или остаться. Но беглые вдруг страстно поддержали беглецов из Китая и проявили такое муравьиное упорство, в общем, несвойственное этим гулящим людям, что вызвали подозрение казаков, что дело здесь нечисто, и какая-то тайна привязывает беглецов к этой земле. Но мнения разделились. «Мы останемся» – наконец вымолвил Петр Толмачев, и его слова стали последним доводом, продолжившим великую историю сердца Азии.

Тот пыл, с каким люди пришли обустроить этот мир, не угас ни у кого, поэтому все, помогая друг другу, стали строить новые дома на местах развалин, используя уцелевшие бревна и дороги в этих краях гвозди, всё более заражаясь рабочим жаром, потому что мир устал от зноя, жара стала спадать, и в девственной долине стало тепло и очень уютно. Быстрота, с какой возрождался поселок, удивляла и радовала самих строителей, сближая многоплеменное население, чтобы оправдать данное впоследствии ссылаемыми в эти края бунтарями прозвище – «Вавилон» – каким они наградили Софийск.

В те же дни в станицу прибыл необычайный пришелец: казах с красивым именем Океан, вызвавший в станице пересуды и брожение, едва не закончившиеся женским бунтом. Веселый и обаятельный толстяк из рода «аргын», которых называли «казахские евреи», он привел из-за перевала очень необычайный караван, семенящий за верблюдом, на котором он восседал. Это было три десятка аляповато-ярко одетых женщин с румянами на щеках, насурьмленными бровями, разноплеменных и очень красивых, и их приняли за гарем жизнелюбивого Океана. В тот же вечер он устроил пирушку, щедро угощая казаков шампанским, проникшим в Китай вместе с унижением, позором, смертью детей и другими прелестями европейского нашествия, а затем принялся строить огромный караван-сарай, щедро заплатив узбекам.

Но вскоре выяснилось, что он строит бордель для караванщиков, а его женщины – это шлюхи со всего мира. Поднялось брожение, женщины неистовствовали. Одна Лиза, неколебимо уверенная в своей красоте, смеялась. «Пусть строится» – сказал Петр Толмачев, вспомнив бесстыжую Беатрис, которая голая, задрав ноги на стол, поучала его на парижском аргю, что весь мир – бордель, а люди – бляди. А неумолкающим женщинам ему пришлось напомнить о том, что вызвало нападение грифов-стервятников, чтобы они умолкли.

Так Океан остался в станице, легко преодолевая неприязнь своего постыдного ремесла легким веселым нравом. Пока строился караван-сарай, он обустроил обслуживание караванщиков в шатрах под перевалом, и вскоре некоторые казаки протоптали туда дорогу, проложив тропинку, идущую параллельно верблюжьим следам, и именно оттуда прибежали казаки, когда густые клубы пыли возвестили о приходе кочевников. Беглые были счастливы, как дети, и сразу же убежали в аулы, где заговорщически стали шептаться с баями и аксакалами, а верховые казахи с саблями и дубинами в руках закружили вокруг станицы. Узкие глаза внимательно скользили взглядами по шашкам и ружьям казаков, по их губам, и избегали смотреть на лампасы уральцев, сибирцев и оренбуржцев, чтобы не выдавать ненависть. Петр Толмачев на правах патриарха пригласил их в гости, подкупив сердца длинной, как вечерняя тень, фразой из восточных завитков, и с тоской думая, что нашествие гостей уничтожит их последние скудные припасы. Казахи спешили, из вежливости отведали жареной сайгачатины и льдистого сахара, продолжая щупать глазами сторожевую вышку и вал, и умчались к своим юртам. Казакам недолго пришлось ждать, перебирая в памяти последние восстания степняков, замученных чиновниками, и воскрешая в воспоминаниях пропавших в степях товарищей. Прибежали веселые принарядившиеся беглые и сообщили, что султан Абулхаир зовет их на пир. Беглые уже путали слова и говорили по-казахски – «той» вместо «пир».

Это был самый веселый и буйный пир, затмивший своим размахом даже грядущее празднование революции, потому что предшествовало ему тяжелое напряжение и нервный озноб назревающей битвы с обеих сторон, вдруг обернувшиеся веселой доброй дружбой. По-осеннему сытые казахи расщедрились и забили для гостей столько баранов, что аульные волкодавы

обожрались их кишками до рвоты, а расстеленные сушиться шкуры заняли целую поляну, на которую слетелись мириады зеленых мух. Казахи и казаки, перепившись водки, настоящей на травках лекаря Вэнь Фу, испытывали ослепляющий восторг, не понимая, зачем воевать в этом девственном мире, где людей меньше, чем чудес, а душистая степь в безграничности соперничает с высокими небесами, и устроили танцы, потом борьбу, потом скачки, где каждый упившийся всадник скакал к своему финишу. Когда над степью сияла кровавая луна, в пьяном беспорядке женили несколько казаков на казашках, устроили перетягивание каната, на котором запутались, где казаки, а где казахи, и стали браниться, но вездесущий Океан пригнал на пиршество своих шлюх, как баранов, и заставил их плясать голыми на столах, и так погасил ссору. Зачинщик пира, полковник русской армии, ага-султан Абулхаир Каскырбаев пил меньше всех, предпочитая дурманящей водке крепкие папиросы, и скользя взглядом по казакам, думал, что русские такие же, как они, восточные люди, и не оскорбляют собой и своим поведением эту великую землю гор, степей и чудес, что самое высокое в мире небо Азии приняло их здесь и подними он своих людей на резню русских, духи предков и небо отвернутся от него и пошлют кару. Он закончил Омский кадетский корпус, был почетным гостем на коронации Николая I и, повидав многое, стал русофилом, больше императора понимая, что русское движение не остановить, и что этот народ влечет на Восток какая-то тайна, живущая в его сердце, и непонятая пока самими русскими. Ночной ветер, гуляющий между низкими столиками с яствами и пляшущими на них шлюхами Океана, нес мудрому султану Абулхаиру запах пыли и горького типчака, шептал суры Корана и вопрошал, почему власть России недостойна русского народа и всех других степных и горных народов этой страны-вселенной, и почему они до сих пор терпят этих людей с лошадиными немецкими лицами и в чужих одеждах, которые живут здесь чужеземцами, не понимая ничего вокруг, и мучают всех какими-то своими нежизнеспособными, мертворожденными планами и проектами, насаждают чужое, оскорбляющее и русских, и других достойных восточных людей, стравливают их между собой и даже не пытаются понять тех, кто оживляет это великое пространство. А тем временем пьяный Петр Толмачев целовал очень тощего одноглазого старца в малахае, поведавшего в ответ на его скорбь о погибшей кладке драконьих яиц, что драконов много на севере, у большого соленого озера. «Им соленый вода много нужно» – пояснил старец, весь как будто состоящий из связок костей и сухожилий, и сказал название озера. И когда пьяного Петра Толмачева вели под руки, он все повторял и повторял это название, боясь забыть. И даже из его дома до утра звучало: «Алаколь. Алаколь. Алаколь». Так называлось это волшебное озеро драконов, в которое Петр Толмачев уже был влюблен.

На следующий день, пустив в ход залежавшиеся ассигнации жалования, казаки купили у кочевников по дешевке овец и лошадей, заложив основы дальнейшего благосостояния Семиреченского Казачьего Войска. Беглые же после встречи с кочевниками просто купались в роскоши, игнорируя вопрошающие взгляды казаков. Бредя волшебством Алаколя, порядком устав от обременительной ноши патриарха, Петр Толмачев сам себя назначил на пост на перевале, чтобы все обдумать, и через несколько дней, овеваемый сентябрьским теплом и осенним уютom, поднялся на перевал Железные врата с десятком казаков и заступил на пост. Казаки ушли в будку, сложенную из валунов, отполированных дыханием верблюдов до блеска, где углубились в карточную игру, а Петр Толмачев уселся на ледяной ствол пушки. У него было тяжело на сердце. Из Верного с казаком на легконогом коне, который каким-то чудом выжил, карабкаясь в высь неба на ледяные отроги, переправляясь через ревушие реки, несущие валуны и обломки скал, который ушел от винтовок и палиц кочевников, от тигров и волков, и стал молчаливым и печальным от одиночества в просторах Азии, пришло пожелтевшее измятое письмо, поведавшее, что Ксения, которую все считали его невестой, узнав через десятые уста, что Петр Толмачев ушел на Восток, сбежала из дома и сейчас ищет его. Петр Толмачев молчал, скрывая свою тревогу, и признавал, что неясно помнит Ксению, невысокую девочку без

лица и с волосами цвета меди, отважно шагнувшую из объятий брата в его постель. Он был уверен, что Ксения сгинет в степях Дикого поля, и это он погубил её. Сердце шептало, что надо седлать коня и мчаться спасать её, но это был бы бессмысленный, самоубийственный поступок, сродни глупости влюбленной Ксении, оставалось только надеяться и верить, что всё кончится хорошо. Над перевалом летали птицы и Петр Толмачев, провожая их глазами, думал, что птицы знают, где сейчас скитается Ксения, отбиваясь от бесцеремонных домогательств солдатни, сопровождающей караваны, эта упрямая дура, всегда приносившая ему одни неприятности. Отведя душу руганью, на какое-то время облегчившей камень на сердце, он ушел в каменную будку, где сонливые от высоты казаки заваривали чай, который, даже закипев, оставался холодным.

Высокогорная ночь была такой холодной, что рассыпанные на перевале кости побледнели от инея, и, страдая, вспоминали о своих грехах, совершенных, когда они скрепляли тела лживых купцов, наемников-головорезов и бессчетных караванщиков. Одурманенный сонливостью, Петр Толмачев бродил по перевалу, прислушиваясь к хрусту костей под сапогами, борясь со сном, любовался далекими пожарами вырезаемых городов, и забрел к куче камней, наваленной казаками над телами китайских солдат, где из щелей свисали черные косы, мокрые от холодных слез мертвецов. Там его чуть удар не хватил, когда задрав голову он увидел величественно плывущего в небе красавца-дракона со сверкающей в лунном свете чешуей, дракона с длинной лебединой шеей, грузным хвостом и перепончатыми крылышками, с тупостью и равнодушием раздувшейся жабы занявшего собой полнеба. Он даже не оглянулся на Петра Толмачева, хотя тот кричал, срывая голос, а потом выстрелил в воздух, пытаясь привлечь внимание дракона. На звук выстрела сбежались казаки и едва не избили Петра, пригрозив запороть его до полусмерти, если он ещё раз поднимет панику, и будет приманивать этих ужасных азиатских гадюк. Петр Толмачев показался казакам сумасшедшим, когда с жаром стал убеждать, какой всепокрушающей мощью будет обладать казачья кавалерия, когда переседет на драконов, но ему посоветовали охладить голову и напомнили, что «конь крылья казаку».

От присутствия исполинского дракона осталась только память, и Петр бродил по перевалу, всматриваясь в чистейшие горные небеса, и замерз так, что у него заледенели губы, лишив его дара речи, обморозил пальцы, сжимавшие карабин, и всё без толку – драконов он больше не увидел. Окоченев и чувствуя окутывающий его нездоровый жар, он вернулся в наполненную храпом будку, душную от тяжелого запаха вечной казачьей службы, и только закрыл глаза, как увидел, что к очагу подошел смуглый, рано постаревший мужчина в гребенчатом шлеме, древних индийских одеждах и вооруженный коротким мечом пехотинца. У него был мудрый и печальный взгляд человека, всю жизнь несущего на себе неподъемный груз ответственности. «Послушай меня, скиф, – сказал этот человек. – Я грек Менандр, царь Бактрии. Мой народ – это горстка людей, скрывающаяся в горных крепостях, а мы обороняемся от кочевников и от китайцев, ходим войнами в Индию, и всё это только потому, что ни один бог, кроме Смерти, не сможет дать нам такого забвения, чтобы забыть эту землю. наших предков привело сюда исступление Александра Македонского, а ты сам, от избытка жизни привел сюда своих людей, не думая ни о завтрашнем дне, ни о потомках. Наше великое царство пало, оставив нас одинокими здесь, а твое царство, скиф, полно могущества, но оно тоже не вечно, и твои потомки познают боль и отчаяние одиночества, с которым мы живем уже триста лет здесь, в волшебном краю чудес, ставшем для нас миром забвения. Уходи обратно, скиф, уходи к своему Гирканскому морю, иначе чудеса и очарование этого края заманят тебя и твоих детей, и вы сами станете очередным чудом этой земли, и не сможете жить без неё. Вы, как и мы, узнаете многое непознаваемое, изменитесь сами, но останетесь заброшенными и забытыми здесь, на краю мира, так далеко от ваших столиц, что обитатели метрополии будут считать вас дикарями, не зная, что сами они цивилизованные свиньи».

Менандр и Петр Толмачев спустились с перевала в теплую сентябрьскую ночь, напоенную пением сверчков. Мир тогда был теплее и влажнее, и белоснежный античный город из мрамора, на следах развалин которого вырос Софийск, окружали сползающие с гор густые каштановые леса, в тенях которых шныряли фазаны и павлины, и неслышно крались леопарды. Менандр, всё ещё мучимый кошмарами побед в Индии, повел Петра в заведение, где всегда находил забвение от давящей ноши, взваленной на него короной. В большой комнате, пропитанной жирным дымом горящих светильников, в углу стояла изящная статуя Афродиты, порочно обнимающая могучий фаллос из мрамора, а в нишах стен развлекались вечным развратом гипсовые сатиры и нимфы. Женщины Индии, Эллады и Востока, пахнущие душистыми благовониями и вянущими розами, сливающимися в древний смрад порока, бродили по залу, шурша одеждой, как змеи, и дотрагивались до мужчин. Рапсод – старик лет под двести, еще помнивший восточный поход Антиоха III – пел «Илиаду», позванивая арфой, но мужчинам, собравшимся здесь, побывавшим и в Индии, и в Китае, и уже видевшим столько чудес, что от воспоминаний о них в глазах рябило, приключения древнего грека казались пресными и провинциальными. Менандр и Петр Толмачев пили красное вино, бросая в него нити полыни, и оба, хорошо зная женщин, сидевших у них на коленях, гладили их так умело, что те млели от удовольствия. Одна из них, высокая полногубая гречанка с большой обвислой грудью стала шарить по гордости Петра, но он шлепнул её по рукам, потому что слушал Менандра. Призрачный царь изливал душу, шепча в чашу вина о любви к этой не знающей пределов земле, кишасей чудесами и скорпионами, и так приманивающей к себе сердца людей, что они тонут в глубокой пучине скорби, покинув её, а сами становятся заброшенной горсткой завоевателей, создавшей великое царство, от которого две тысячи лет спустя останутся только рухнувшие белые колонны, увитые бурыми клубами верблюжьей колючки. «Скиф, твой род повторит нашу судьбу» – вещал измученный Менандр, в глубине души счастливый, что ему выпало жить и родиться здесь. От полынного вина, переливающегося зеленью изумруда, каменные сатиры совсем потеряли стыд, изощряясь в разврате с нимфами. Петр Толмачев плыл по зеленому морю, пахнущему перегаром гуляк, задерживая взгляд то на гротескных масках, висящих на лицах актеров, декламирующих похабщину, то на голой женщине, танцующей у шеста и покачивающейся вместе с полом. «А может, скиф, вы избежите нашей судьбы, вы другие, вы ближе к этой земле» – сказал Менандр, а Петр Толмачев положил голову на стол, погрузился в сон и отправился в новый путь из пыльных знаний древних манускриптов, никчемной учености книжника, волшебства, лезущего в окна и сваленного под кроватью, и деятельного одиночества странного человека.

Якуб прибыл в Софийскую станицу ранним октябрьским утром, в тот день, когда Ксения впервые вышла из юрты гарема Туран-хана и увидела голубую синь Аральского моря. Он поразился, как изменился и разросся безымянный поселок за какие-то полгода, и ввел на его улицу самый волшебный и шумный караван за всю историю Великого Шелкового Пути. Ровно в полдень, минута в минуту, золотистый осенний воздух вздрогнул от гулких ударов, мирно отсчитывающих время, взорвался многоголосой какофонией музыкальных фраз, обрывков полек, вальсов и других механических мелодий, звучащих из полированного чрева сотен часов на спинах верблюдов, дополненных криками деревянных кукушек и угуканьем сов с серебряными глазами. Этот веселый караван, каждый час огромного пути из Персии отмечавший музыкальными фразами, а полдень каждого дня приветствовавший такой какофонией мелодий, что верблюды глохли, дотащился до Софийской станицы, измученный поклажей из огромных часов-комодов для дворцов, уютных маленьких коробочек с маятниками и вульгарными кукушками, несущими уют мещанским гостиним, карманных часов с крышками из фальшивого золота, дребезжащих вальсами, стоит открыть крышку с назидательной надписью. Обитателям Софийской станицы, научившимся жить по солнцу и вечному шуму ветра на перевале, ровно в пол-

день менявшего направление и с ним свой звук, часы были не нужны, но они накопили их немало, прельщенные приятным запахом полировочного лака и веселой музыкой. Зная, что время в долине у перевала течет не всегда правильно, то вдруг ни с того ни с сего начинает нестись скачками вперед и назад, а то иногда свивается кольцами, они не очень-то доверяли часам, благодаря чему многие из них дожили до прихода Смерти.

Полуголый, в одних штанах, примчавшийся на какофонию пришедшего времени Петр Толмачев, уже давно по-азиатски не скрывающий своих чувств, вскрикнул от радости, увидев Якуба. Они обнялись, и так в эту долину вместе со временем пришла настоящая степная дружба, подлинное величие которой возможно только на Востоке.

Лиза никогда не видела Якуба, но приняв его в гостях, сразу почувствовала симпатию к этому крупному грузному старику с синими глазами, принесшему в дом запах бесчисленных стран и земель и мудрость средневекового восточного мага, направившую Петра Толмачева на путь истинный. Четверо караванщиков принесли в скромный домик подарок Якуба – огромные массивные часы с тяжелым маятником-секирой, только они и остались потом в этом доме, когда Ксения вышвырнула из него всё, изживая запах Лизы, но часы она даже с места сдвинуть не смогла. От боя этих часов, слишком больших для маленького домика, дрожали стены и падала посуда на столе, стоявшие рядом с часами глохли на время и объяснялись жестами, пока они не замолчат, но красота мелодии часов и их чистое серебристое исполнение возмещало все неудобства.

Якуб загостил в доме Петра до глубокой ночи, наполненной шелестом крыл летучих мышей, всё громче ведя непонятный разговор до самого утра, а на рассвете вместе с Петром Толмачевым ушел на безымянную гору к Ковчегу. Лиза осталась в доме одна, и со всей станицей встретила приехавшие к казакам, уже забывавшим прошлое в мире чудес, их семьи – жен и детей с Урала, из Сибири и Оренбуржья. Нагруженные стульями и столами, дребезжащей, как её не привязывай, кухонной утварью и тюками перин, простыней и ненужных в этом пекле тулупов, они весь свой путь к затерявшемуся в просторах поселку тащились вслед за караваном Якуба, ведомые музыкой часов, которую они наивно считали звуками благодатной осенней степи этого мира. Они наполнили Софийскую станицу, где на триста казаков жило больше тысячи разноплеменных выходцев из Азии, русской речью. Невесты обнимали своих женихов, нетерпеливо расспрашивая, когда будет свадьба, жены сквозь слезы радости рассматривали поля и новые хозяйства, а дети тут же затеяли драку между собой. Между приступами счастья и любви воссоединившихся сердец случилось несколько жестоких скандалов, когда невесты и жены обнаружили, что их суженые безрассудно женились на казашках во время великого пира-попойки с казахами, и вцепились в волосы казашкам, плачущим от боли и глупости русских женщин, не понимающих удобств многоженства. Кое-где шумно или тайно изгоняли служанок-узбечек или уйгурок, исполняющих роль наложниц. Ночью шел дождик, целомудренно заглушая своим шумом происходящее за новенькими стеклами в домах и смягчая звериный рев Лизы.

Она вернулась в дом сразу же, как только пропыленные от многодневного пути и пахнувшие вечной кухней жены казаков рассказали ей, что Ксения, не дожидаясь вестей от Петра, ушла разыскивать его, как только узнала, что он ушел на восток, ещё раз доказав свой упрямый, непоколебимый нрав. Они поведали, как красива невысокая ростом юная Ксения с роскошной гривой рыжих волос и упрямыми зелеными глазами, и рассказали, какие роскошные юбки и платки купил ей отец-богачей, и дали понять Лизе, что они-де законные жены, а она случайная любовница с сомнительным прошлым, даже не подозревая на что способна Лиза, убившая барина выстрелом в упор, и наученная любовником-шаманом видеть души людей во всей их наготе. Обезумевшую от ревности Лизу весь вечер тошнило ядовитой желчью, от миазмов которой подышали мотыльки, и терзаясь шипами отчаянной страсти и ревности, Лиза

понимала, что теперь найдет покой только над трупом соперницы. Но только страх за ребенка, уже шевелившегося в её чреве, удержал её от немедленных действий.

Петр Толмачев не заметил ничего странного в Лизе только потому, что общаясь с Якубом он заметно одурел. Ранним утром, ворочая тяжелые балки Ковчега, осыпавшиеся окаменевшими ракушками, он был погребен под лавиной знаний Якуба, в волнении раздиравшего себе руки о камни. В восторге от того, что так легко найдены все тайны человечества, Якуб, захлебываясь, изливал на него все свои знания, истоки которых уходили к молчаливой мудрости жрецов Атлантиды, важных, как индюки, а потом, как в калейдоскопе, распались на нарочитую таинственность жрецов Египта и Вавилонии, полное аристократического снобизма учение пифагорейцев, замутивших простое знание счета, да так изысканно, что у Петра пошла кругом голова, и даже на время угасла его непоколебимая казачья уверенность в собственном превосходстве.

Но всё же он был очень рад, что нашелся мудрец, у которого хватит сил разворошить неподъемный груз великого знания, нежданно-негаданно свалившийся на Петра, с которым он не знал что делать. А в том, что Якуб великий мудрец, Петр Толмачев не сомневался с того уже далекого вечера, когда, сидя у костра, Якуб смотрел на него синими глазами знатока чудес. Так и было: Якуб ел руками плов и жидкую рисовую кашу и даже макал в суп за кусками мяса загрубевшие пальцы, рыгал из вежливости после еды, постоянно забивал за губу насвай, похожий на птичий помет, а на запах его портянок под узконосыми сапогами сползались толпы жуков-падальщиков, но он был последним великим мудрецом Востока, родившимся в крохотном, неведомом миру кишлаке в холодных поднебесных плоскогорьях восточного Памира, где вечно выл ветер, тлел последней искрой язык древних ариев, а холодными зимними ночами люди спали вместе с яками, погружая руки в густую шерсть, и грелись воспоминаниями побед над Александром Македонским. И они же, земляки и родственники, заставили Якуба пуститься в путь на семидесятом году жизни, потому что поссорились из-за драгоценного в тех краях топлива – навоза – с соседним кишлаком горных таджиков, и те перестали их пускать к мазару – святой гробнице Курбан-Али. И Якуб снова пустился в путь сквозь войну и кровавый хаос Китая, потому что односельчане замолкали при его появлении и прятали глаза, задумав убить его и пролив слезу на торжественных похоронах, объявить его святым и воздвигнуть ему отдельный драгоценный мазар, где люди будут вымаливать рождение мальчиков и хороший приплод яков у праха того, чья мудрость и великие знания вызывали трепет у односельчан, заблудившихся в высокогорных дебрях одиночества. Об этом Якуб очень просто рассказал Петру и поведал, что в четырнадцать лет он бежал из дома на восток, где разыскал китайский городок-форпост на стыке гор и пустыни, где цивилизация встретила его в виде надменных китайских мандаринов и публичной казни уйгур в соломорезке. Но он всё же выдержал это испытание цивилизацией, и пошел дальше. Якуб рассказывал, копируя кистью на глянцевакитайской бумаге рисунки и записи Ноя, что учителем его был мудрец-несторанин, заболевший от великих знаний цинизмом и разуверившийся в милосердии Бога, но потом его душу спас бедный дервиш-суфий, научивший его правильно понимать рубаи Хайяма и пить вино. Якуб был стар, беден и изношен бесчисленными караванными дорогами и бродящей по его пятам Смертью, щекотавшей его холодным пальцем между лопаток. Он жил в Шанхае, где курил горький опиум и читал на санскрите «Ригведу», и однажды проснулся во влажной жаре Бенгалии, где уже бродили англичане, похожие на вставших на хвосты белых змей в пробковых шлемах. Он ушел от них в Тибет, отвративший его жестокостью казней и гниющими грудями вырванных глаз у дворца далай-ламы, увильнул от Смерти во время восстаний махдистов в Персии, жил в погрязшем в противоестественном пороке Стамбуле, где изучал арамейский и латынь и без вины отсидел в смрадной тюрьме. Якуба не сумели добить ни восстания в Египте, ни черная оспа в Мекке, ни эпидемия цеце в Эфиопии, где он оттачивал мудрость в беседах с черным, как головешка, епископом в вечной благословенной весне Аддис-Абебы. Он знал

всё, простотой и ясностью своего ума умел изгонять туман тайн с самых загадочных, смутных знаний и находить простые, естественные ответы на все вопросы.

Якуб пообещал Петру Толмачеву, что прочитает летопись Ковчега, но предупредил: «Это непросто и может принести большие беды человечеству». Успокоенный Петр ушел бить неистовым боем кровать с Лизой, а Якуб, суть которого была необъяснимой, уснул на полу и всю ночь беззвучно шевелил губами, беседуя с Сократом, Спинозой и магами таинственной страны Шамбалы, где прожил не один год, но сбежал, ибо не смог стерпеть мира без дороги, и другими мудрецами, умершими заживо для бессмертия.

Якуб проснулся ещё до рассвета, приказал караванщикам вести трезвонящий механической какофонией полк караван без него, пообещав нагнать по дороге, и собрав суму барахла ушел на гору к Ковчегу. Петру осталась только записка на французском, просившая не беспокоиться и ждать его. Петр Толмачев подчинился, хотя Лиза, жалея старика, упрашивала его отнести наверх теплые вещи. Но поражающая мудрость Якуба и величие его миссии внушили бесшабашному Петру такое почтение, что он не решился беспокоить мудреца, который в холодной вышине у Ковчега порой мерз так, что отколупывал от бесценных досок щепки и жег маленькие костры, проклиная свою непредусмотрительность.

Стояли благословенные теплые октябрьские дни, когда над перевалом пролетали бесчисленные стаи фламинго и пеликанов, удобрявшие землю пухом и кляксами помета, а обмелевшая горная река несла в себе тонны яблок, груш и слив, лавинами скатывающихся с горных склонов прямо к порогам домов. Обрадованные дети страдали зелеными поносами, и многие покрывались коростой сыпи от гипервитаминоза, улицы станицы в безветренные часы задышались от фруктовых ароматов, которые сгущаясь, бродили в себе, превращаясь в тонкое, фруктовое вино, и каждый вдох был сродни глотку воздушного вина, пьянившего и людей, и животных, живущих в бесконечном блаженстве. Мир, казалось, возвратился в полузабытые времена рая, вновь стал библейским садом, и время потекло вспять, чтобы снова повториться и снова изгнать человека в суровый внешний мир. Опасная степь на этот раз заполонила станицу стадами сайгаков, джейранов и куланов, спасающихся от облав кочевников за земляным валом, под молодыми деревьями бродили рогатые копытные, и никто не решался трогать их, смотря в прекрасные, доверчивые глаза.

Опьяняющая, беспечная жизнь в щедрой осени юга действовала на людей разлагающе, и снова, но теперь тайно, чтобы не прознали грифы-стервятники, медленно расцветали изысканные южные пороки, загрузившие работой бордель Океана. В домах сгущался туман лени и беспечности, шептавший в уши людей, что они нашли рай на земле, забытый Богом и не найденный чеёртом. Даже бесконечные птичьи караваны, улетающие в Индию, не могли образумить беспечных людей, нашедших счастье.

Это душистое болото лени и праздности, живущее животными удовольствиями и сплетнями и домыслами, которые люди умудрялись сочинять даже в этой долине, взболтнул гонец Иван Ветров, в одиночестве странствующий в Великой Степи на легконогом ахалтекинце. Он привез в Софийскую станицу письма и вести, и молчаливый и задумчивый после одиноких скитаний по великим, как небо, степям, собрал вокруг себя всех жителей. И молодые, и старые, и дети, уже забывшие, что они родились в России, сбродили послушать вести о далекой Родине. Они узнали, что на святой Руси, всё, слава Богу, тихо, только на Кавказе с Шамилем воюют, выслушали переданные далекими родственниками вести и поклоны, дохнувшие на них сладко-горестными воспоминаниями о жизни в пограничных станицах и торговых городишках у дорог, где жизнь трудна и прижата гнетом властей. Воспоминания рождали и радость, что они нашли беспечный уголок, но и чувство горестного одиночества и грусти оттого, что настоящая жизнь великой страны течет вдалеке, и они, оставаясь частью России, живут вне её, без её забот и трудностей, как оказывается, нужных человеку для жизни. Лиза и Петр Толмачев, каждый скрываясь от другого, узнали, что Ксения появлялась в Оренбурге, где отбилась

от бесчисленных домогательств, ушла с бесконечным, как горная цепь, военным караваном верблюдов на Сырдарью, к крепости Акмечеть и сгинула вместе с караваном. Ветров, прославившийся тем, что на своем коне уходил наметом от крутящихся джиннов, гонявшихся за ним по степям, смотрел прозрачными глазами сквозь Петра и Лизу, потому что больше ничего не мог сказать. Ксения пропала.

А на следующее утро – к счастью, оно оказалась ветренным, и пьяный воздух не одурманил людей – все, не сговариваясь, пошли распахивать целинные земли ниже долины, куда впоследствии поползет разрастающийся Софийск. Петр Толмачев был здесь одним из первых, приобщаясь через тяжелый труд земледельца к исконному русскому труду созидания новой границы империи, и противясь сердцем приходу её властей. За неимением волов, запрягали в плуги кургузых казахских лошадей и, наваливаясь на поручни, взламывали целину, собираясь сеять озимые. Но урожаем земля Азии дала сразу же, потому что плуги выдирали из земли знаки древних эпох этого края – рукоятки мечей, дешевые аляповатые кубки, изъеденный ржавчиной щит со страшным женским лицом на боевой стороне, осколки и какие-то стеклянные флаконы. Часто попадались человеческие кости, которые снесли в одну кучу и зарыли. Даже закаленный чудесами Петр Толмачев был поражен, когда его плуг отрыл лежащий в земле панцирь гигантской морской черепахи, весь изрисованный грубыми китайскими иероглифами, настолько древними, что даже живущие в станице китайцы их не понимали. Панцирь, когда его вырыли, стал глухо постукивать, и из него вытрясли бронзовый витой посох и огромную золотую монету, весом в тридцать пять золотников. Но несмотря на все древние помехи, Софийская станица превращалась потом и упорством людей из вооруженного поста в обычный русский поселок, окруженный возделанными полями. Петр Толмачев вечерами возвращался домой, налитый свинцовой усталостью труда земледельца, и Лиза мыла его, как ребенка, и накрывала на стол, блаженствуя от наступившего мира, ибо уверяла себя, что Ксения погибла, и ни одна сука, носящая юбку, теперь не посягнет на её Петра.

Пока они так надрывались сами и надрывали лошадей до астматического хрипа, распахивая целину, лавины яблок и груш прекратились, завалы фруктов скисли и были выброшены в горную речку, воздух очистился, и людям, чтобы опьянеть, снова пришлось прибегать к традиционной водке или экзотическими шарикам горького опиума доктора Вэнь Фу. По утрам с горных ледников тянуло свежим холодом, чье дыхание красило в желтые и багровые цвета листву, и украшало пышные розы Лизы патиной росы, и Петр Толмачев встревожился, не понимая, как живет в ледяных высях Якуб и чем он там питается. Вечерами сквозь подзорную трубу он всматривался в плоскую вершину с иглой скалы и не замечал на ней признаков жизни. Только фантазии Петра, полагавшего, что на вершине творится какой-то магический обряд, и любое вмешательство разрушит его течение, удерживали его внизу, заставляя копить тревогу темными ночами. Но Якуб вернулся ровно в тот день, когда терпение Петра лопнуло, он подобрал сапоги покрепче, чтобы вскарабкаться по сыпучим кручам, и прямо в дверях столкнулся с обносившимся и исхудавшим Якубом, согбенным под тяжелым грузом.

– Живой! – воскликнул Петр Толмачев.

– Умереть не так просто, – ответил Якуб словами, которые впоследствии приобретут для Петра очень горькое значение.

На радостях тут же закатили пир, и изголодавшийся Якуб вел себя за столом, как свинья, макая пальцы в жгучие корейские салаты, чтобы придать пикантности мясу во рту, и вылавливал капусту из борща руками, только что побывавшими в халве. Но ему прощали всё, потому что, окрыленный великой миссией познания будущего, он говорил без умолку, объясняя завоуженному Петру, что Ной великий путаник, потому что он создавал систему записей летописи будущего прямо на ходу, не придерживаясь порядка и методичности, изменяя её всякий раз перед новой задачей, совершенствуя раз от разу, и теперь Ковчег стал скопищем головоломок, ключ к которым он всё-таки нашел. У Петра Толмачева замирало сердце от торжества,

а Лиза любовалась голубыми глазами горного ария, и видела в нем увлеченную, чистосердечную и нестареющую душу, в мудрости которой жила печаль. Якуб иногда замирал на полуслове, изнуренный бессонницей, кипением мысли и беспощадными горными ветрами, ободравшими его лицо так, что кожа потрескалась и шелушилась, как кора, но он все же дотащил с вершины пухлые стопки китайской бумаги с зарисованными фрагментами царапущек Ноя и рядами изобретенных патриархом букв, похожих на неправильные дырки, и ещё принес ветхие бруски Ковчега, окаменевшие раковины с его бортов, глиняные черепки посуды семейства Ноя и даже примитивный бронзовый нож, найденный в руинах. «Всё может пригодиться» – так пояснил Якуб свое научное скопидомство.

Вечером в магическом свете свечей в зеркалах он раскладывал перед Петром глянцевые листы и спустя десятилетия, даже когда Софийск будет переживать тошнотворный кошмар змеино-нашествия или сотрясаться от снарядов армии Льва Троцкого, осаждавшей город, в комнатах большого светлого дома Толмачевых будут проступать призрачные, пропускающие сквозь себя свет, Петр Толмачев и Якуб, склонившиеся над туманными матовыми листами. Якуб объяснял Петру, что Ной, столкнувшись с неполнотой записи в рисунках, изобрел письменность, в которой каждая буква выражала звук, и, сплетаясь в слова, поведывала о замысле жестокого Господа Бога, и что каждый знак буквы копировал положение губ и языка, если смотреть спереди – очень остроумное решение. В первых записях Ной даже зарисовывал в каждой букве тридцать два зуба – Якуб показывал продолговатый кружок с птичкой языка и острыми черточками зубов, обращенных к центру. Но вся беда в том, что Ной ежедневно совершенствовал свой алфавит и довел его до символа, поэтому первые записи были совсем не такие, как последние. «Надо прочитывать текст» – не раз повторял Якуб, объясняя нетерпеливому Петру, что рисунки мало помогут и будут понятны только в толковании прошлого, образы которого нам известны, надо думать, даже получше, чем Ною. Якуб уже понял значение полутора десятков букв и уверенно заявлял, что эта речь, отдаленно напоминающая санскрит, является допотопным первоязыком, породившим все человеческие языки, и впереди гигантская кропотливая работа по его воссозданию.

Петр Толмачев со всей горячностью молодости жаждавший немедленного чуда, был разочарован и разозлен, когда Якуб поведал в ответ на его любопытство, что его желание приручить дракона есть нелепая химера, потому что драконы – существа небесные и парят в облаках большую часть жизни, обладая таинственным свойством терять вес, напившись соленой воды озер или океана, испуская из пасти пламя, они спускаются на землю, чтобы отложить кладку яиц у побережья соленых вод, а затем снова взмывают в небеса. Драконы опасны длинными струями пламени, которые они выпускают из пасти, при этом странно пощелкивая, но особенная опасность состоит в том, что во время гроз с молниями они иногда взрываются огромными сгустками огня и однажды, в эпоху Тан, дракон, взорвавшийся над городом Ухань, вызвал большой пожар, погубивший тысячи людей. Главное же, засмеялся Якуб: драконы тупые, ленивые, сонные создания с разумом лягушек, и приручить их невозможно, как ни пытались это сделать всякие восторженные глупцы вроде молодого казака из России. Якуб не стал отговаривать Петра, когда тот, вскипев бычьим упрямством, закричал, что он-де докажет своё всяким умникам, вытирающим жирные руки о полу халата, и приручит драконов, создав грозную летучую кавалерию.

– Сначала попробуй приручить варана, – ответил Якуб, который жил так долго и знал так много, что всё происходящее казалось ему повторяющимися воспоминаниями.

Но они не поссорились, притягиваясь друг к другу, как две противоположности. Якуб был хорошим учителем, и непоседливый Петр Толмачев проявлял рядом с ним чудеса усидчивости и прилежания, учась на ходу. В спорах и обсуждениях, помогая друг другу каверзными вопросами, расшифровывали они круглые дырки в досках Ковчега, даже не подозревая, что их образы, как дыхание на холодном стекле, запечатлеваются в Вечности этого края, чтобы

проступать миражами в далекую эпоху, когда историки будут спорить, действительно ли существовали великий мудрец Якуб Памирский и легендарный воин Петр Толмачев, укрощавший драконов. Они были поглощены своими заботами, а похорошевшая, сияющая Лиза приносила им холодное мясо, пиалы чая и восточные сладости, наполнявшие рот вкусом пряных тропических стран за перевалом. Петр ранил сердце Лизы, не замечая в горячке учения её новых белоснежных сарафанов с пышными расшитыми рукавами и длинных юбок, витых серебряных браслетов и длинных, до плеч, серег, добавляющих толику зависти к ореолу женской ненависти, окружавшей Лизу. Только полнейшая самоотдача великим знаниям не давала ему заметить, что домик украшается пышными коврами и зеркалами и блестящим на полках дорогим фарфором, и задаться вопросом – почему равнодушная к быту, похотливая и ленивая Лиза стала прямо-таки хрестоматийной хозяйкой. Когда Якуб и Петр Толмачев поднимали глаза от бумаг и от усталости видели бегающие по стенам комнаты оранжевые кольца, а языки их начинали заплетаться от долгих обсуждений, они сбрасывали бумаги на пол и устраивали своеобразную игру, снимающую напряжение с натруженных мозгов, но одновременно и дающую знания. «Вещи живые?» – спрашивал Петр Толмачев. «Да» – отвечал Якуб. – «Вещи имеют душу. Магнит – это душа металла». «А что такое душа?» – «Душа – это просто причина всех поступков». «Что такое судьба?» – «Судьба – это сила, которая приводит в движение материю». Пока мужчины изощрялись в познавательном празднословии, Лиза во дворике обнажала тело и приступала к ритуалу омовения, зародившемуся ещё у дорогих шлюх античной Антиохии и императорских наложниц Китая. Она смешивала в чане воды ароматические соли, омывала тело, и вытерев его насухо нежным полотенцем, умащала гладкую, шелковистую кожу ароматическим маслом – для каждого участка своим – наносила на подмышки, шею и интимные закоулки капли афродизиака и вплетала в волосы крошку гвоздики. Это ароматическое царство стоило Лизе целого состояния, но она не скупилась, с опаской ожидая, что за Петром может прийти всё-таки Ксения, и готовясь приступить к схватке за мужчину во всем расцвете своих вызывающих чар.

Якуб провел в доме Толмачевых всего несколько дней, и обремененный человеческой заботой о хлебе насущном, собрал листы с рисунками и записями и верхом помчался догонять свой дребезжащий музыкой караван. Он оставил Петру Толмачеву несколько книг, дабы он приумножал свои познания: труды Платона, Аристотеля, учебники китайского, арабского и латинского языка, и, к безутешному горю Лизы, Ксении, и всех детей Петра Толмачева, учебник астрономии для студентов немецких университетов. Познакомившись со Вселенной, Петр Толмачев приобрел отсутствующий взгляд, не замечающий столов и стульев (что убавило посуды в доме), но постоянно устремленный в необъятные межзвездные глубины, поющие звоном звезд и завыванием солнечного ветра в эфире, но и подчиненные тоже педантичным законам механики и физики. Он совсем забросил изнывающую Лизу, проводя долгие осенние ночи во дворе, наблюдая в подзорную трубу галилеевские спутники Юпитера, планеты, кратеры луны, и едва не ослеп, когда приступил к поискам пятен на Солнце. Учебник астрономии в горячечном порыве был вызубрен наизусть и послужил катализатором сюрреалистических фантазий Петра Толмачева, мало-помалу сотворившего новую, волшебную Вселенную, где серебряные лунные степи населяли гигантские дивные насекомые с разумом мудрецов и печальными фасеточными глазами. Он верил в запустелые марсианские каналы, где от величия древних цивилизаций остались только застывшие в ностальгии спиральные пирамиды, и в холодный, стерильно-чистый мир Ио, где кристаллические исполины-айсберги сияли отраженным светом Юпитера, пахнущего едкими газами. В этом краю чудес, в уединении Азии, где вечера горели багряными закатами, занимающими полнеба, а ночи освещали небесные аллеи фонарей Млечного Пути, и люди были растеряны перед диковинными новшествами, поражающими даже самых туповатых, ничего не сдерживало воображение Петра Толмачева.

У Лизы от отчаяния опускались руки, когда он проводил долгие ночи за столом в непонятных записях и расчетах, разговаривая сам с собой на какой-то дикой тарабарщине, и если бы сила её проклятий была действительна, то Якуб, пребывающий сейчас в Китае, умер бы от коллик, холеры в бок и разорвался бы не одну сотню раз за то, что подарил Петру зловредную книгу. Лиза ходила за Петром, как нянька, трижды в день кормила его, преодолевая недовольное ворчание увлеченного мужчины, одевала в чистое, и не будь её, Петр Толмачев, наверное, умер бы с голоду, блаженно путешествуя по разноцветным Галактикам. Он едва взглянул в окно, когда в ночь на Рождество пошел единственный за всю зиму снег, и Софийская станица наполнилась криками ликования людей, с пронзительной ясностью вспомнивших Россию, верными детьми которой они оставались даже здесь, на краю света, на юге чудес. «Какие глупости, – назидательно сказал Петр Толмачев. – На Марсе даже в тропиках снег лежит вечно, только он красный». И вновь уткнулся в пухлую стопку листов с записями. Лиза стала подумывать, что он безнадежен, и стала страстно ждать Якуба, полагаясь только на его мудрость, но вдруг Петр Толмачев прекратил свои расчеты и записи, и замолчал с просветленным видом человека, свершившего великое дело. «Лиза, нам надо лететь на Марс. При третьей космической скорости мы достигнем его за семьдесят дней» – сказал он, как о давно решенном деле. Лиза промолчала, решив, что уж лучше Петр, пусть даже сумасшедший, будет её, чем достанется ненавистой Ксении.

Вся Софийская станица стала утверждаться во мнении, что Петр Толмачев стал жертвой порчи, насланной на него ведьмой Лизой, но Якуб, приехавший в начале весны, выслушав план Петра Толмачева об экспансии человечества на Марс и Венеру, что разом решило бы все проблемы перенаселения и земельного голода, пожал плечами и нашел его вполне разумным. Он не скрывал своего восхищения Петром, безошибочно рассчитавшим траектории межпланетных полетов с поправками на массы планет, но счел его идею преждевременной, требовавшей огромных затрат и неподъемной для одного человека. «Нам надо знать свои границы» – объяснил Якуб, в котором всё ещё жили предания детства человечества, что в часы затмения небесный волк пожирает солнце.

Он привез достоверные и точные сведения из-за перевала: англичане и французы всё так же надругались над Китаем, превращая его города и поля в смрадные пустоши, воняющие трупами и унижениями, над которыми страх и отчаяние людей превращаются в вечерних демонов, источающих ароматы кислого пота и мочи. Благоденствуют только крысы. Те, кто не смирился, повязывают голову красными повязками и воюют со всеми, погибая за мечту о небесном государстве Всеобщего Благоденствия, достижимого, как Шамбала, вместо того, чтобы восстановить обычный порядок. Значит, дела в Китае совсем плохи, если все поняли, что обычная жизнь недостижима и начали войну за неосуществимые идеи. «Следующие, на кого нападет Европа, будете вы, русские» – предупредил Якуб, с приходом которого дом наполнился разноязыкой пылью бесконечных караванных дорог, а муравьи стали почтительно кланяться его тени.

Якуб был заметно хмур и озабочен. Его уже нагоняло кошмарное животное старческой дряхлости, напоминавшее о себе многочисленными недугами, и этот чудодей-бродяга не знал, где ему преклонить мудрую голову на старости лет. В родном доме его поджидала насильственная Смерть от рук соплеменников и роскошный мазар святого. Китай горел от интервенции и гражданской войны, Восток, от Египта и Марокко до Коканда ждал неминуемого нашествия русских или европейцев, а Индия отпугивала старого горца изнуряющей жарой. Этот мудрец в обтрепанном халате был грустен, хотя за эти месяцы он понял звучание всех букв Ноева Ковчега и принес в дом Толмачевых певучую, мелодичную речь первоязыка, смысл которой был непонятен, и снова сумел уйти от методичной Смерти в Китае, преследовавшей его среди войны и эпидемии тифа. Якуб был разорен бандитами на дорогах, и ему портила настроение ещё и обтрепанная одежда, но он улыбался, щедро одаривая Петра тайнами мудрости и сек-

ретами Ковчега. Они вместе собирались отправиться на гору и зарисовать пропущенные фрагменты великой летописи.

Но следующий день перевернул всё. У Лизы не ладилось с утра: она просыпала соль, а когда из суеверия начертила на ней крест, его концы завились в свастику; из помойного ветра выглянул огромный полупрозрачный таракан-альбинос с двумя головами; завтрак на печи оставался холодным, простояв на огне целый час. Сильно похолодало, и из долины на станицу напал молочный туман, во мгле которого въехал в станицу Иван Ветров. Бесшумный и молчаливый, как призрак, он направился прямо к дому Толмачевых, где проник в комнату, не скрипнув дверью, не задев половицы, и даже не потревожив сырой зимний воздух, словно его не существовало. В могильной тишине он передал Петру Толмачеву тонкий бледный листок бумаги и исчез, как будто никогда и не появлялся. А листок прошептал прямо в сердце Петра, что караван, к которому прибилась Ксения, на подходе был разграблен кочевниками, мужчин перебили, а женщин, и среди них Ксению, надо искать на невольничьих рынках Ташкента и Бухары, где в цене молодые белые женщины.

И этот шепот, звучащий из сердца, слышали и Якуб, и Лиза. Гонец исчез, а Петр Толмачев уже зная, что делать, снял со стены карабин и шашку и стал копаться в вещах, собирая дорожные сумы. Только когда они были уложены, он увидел что рядом стоит Лиза.

– Петя, возьми, не отказывайся, – строго сказала она. – За это ты купишь бухарского эмира со всем его вонючим гаремом.

И вложила ему в ладонь пригоршню необработанных, сверкающих сиянием изумрудов. Петр Толмачев взял их, тотчас поняв, что беглые процветали здесь, отыскивая в заповедных горах изумруды и выгодно сбывая их кочевникам. Он вышел из дома и увидел, что Якуб, похожий на синеглазого ворона, уже седлает лошадей.

– Я поеду с тобой, – обыденно-просто являя величие степной дружбы, сказал Якуб. И пояснил: – Ты не знаешь Бухары и Коканда.

И через минуту Софийская станица осталась позади. Петр Толмачев помчался вперед с той же остервенелой отвагой, с какой многие годы спустя повторит этот путь вместе с генералом Черняевым, чтобы сокрушить кокандские и бухарские армии и кинуть эти земли под ноги очередному императору, который недостойн быть здесь даже прахом. Его вела та же страсть, что покорила всё познавшую Беатрис, и нелепая, необъяснимая вера в свою звезду, которая подарит ему бессмертие. Вместе с Якубом он пересекал желтые холодные равнины вдоль белых гор, бесстрашно бросая коня в бушующие горные реки, когда-то остановившие огромные китайские армии. Боль в его сердце рождала стоны в завываниях ветров, и эта боль гнала его без отдыха и роздыха, заставляя останавливаться только тогда, когда кони начинали плакать от изнеможения. За несколько дней он достиг разросшегося, многолюдного Верного, в котором причудливо смешались город и военный стан, и направился прямо к атаману Колпаковскому.

Загоревший и сильно постаревший, за неполный год Колпаковский как-то расплылся и стал напоминать скифскую каменную бабу. Колпаковский встретил Петра Толмачева с уважением: он возмужал, дышал отвагой и мужественностью, и такая властность и концентрация воли шла от него, что атаман был ошеломлен. Да, подтвердил Колпаковский, большой военный транспорт на Акмечеть был вырезан неведомыми мятежниками в низовьях Сырдарьи без остатка, и об этом узнали только тогда, когда дозоры в степи набрели на курган из отрезанных голов конвойных солдат и офицеров. Колпаковский обстоятельно объяснил, что пленных с каравана в Хиве нет, потому что там сидит наш консул, пресекавший торговлю русскими, а вот Коканд и Бухара стали черными ямами с той поры, когда контрразведку в них возглавили англичане, работающие так профессионально, что все наши агенты были посажены на кол, а с некоторых заживо содрали кожу или облепили голову тестом и залили кипящим маслом. Пленники, надо полагать, там, на невольничьих рынках, но вызволить их невозможно.

– Я поеду туда и верну пленных. Мне надо, – горестно, но твердо сказал Петр Толмачев.

– Твоя воля. Но ты не вернешься, – ответил Колпаковский, до спазмов в горле завидующий Петру.

Петр Толмачев не ответил ему, и обменявшись лошадьми с казаками, через час они с Якубом уже мчались навстречу гигантскому зареву кровавого заката, занявшего полнеба. Он загонял лошадей, вязнувших в тяжелой глине зимней степи, и устремленный вперед, принимал как должное выносливость и упорство Якуба, не отстававшего от него ни на шаг. Устремленный вперед, расставшийся в тревоге с фальшивой мишурой проектов приручения драконов и экспедиции на Марс, он мыслями был впереди собственного движения и вдруг разом приобрел ясновидческую способность видеть путь будущих дней. Это были такие же холмистые степи и многоликие вершины под звенящим голубым небом, цепочка верблюжьих следов и шлепки зеленеющего навоза, который с голоду пожирали облезлые шакалы, но этот пейзаж был на многие сотни верст впереди того места, где торопили коней Петр Толмачев и Якуб, покачиваясь в седлах.

На эфемерной, невидимой, но смертельно-опасной, как укусы каракурта, границе, Петр Толмачев повернул коня на север на миг раньше, чем Якуб предложил обойти ханские патрули, потому что он увидел, что дорога будущего поворачивает спиной к горам. Они – два безмолвия – помчались от благодатных холмов предгорий в идеально ровную глинистую пустыню, спекшуюся в растрескавшуюся корку от тысячелетнего зноя божьего гнева. В своих прозрениях дороги Петр Толмачев видел морозящие стлывые дожди зимы, пузырящиеся в лужах, но дождей не было, хотя небеса низко нависали над ними ковром серых туч. Дальше к северу глина не пустила в землю воды уже прошедших дождей, и путников встретила огромная зеркальная гладь холодной воды, напитавшей воздух осязаемой сыростью. Мир был похож на замерзшую скорбь победившего потопа, лошади брели в воде по колено, и серебряный всплеск под копытами был единственным звуком в этом печальном сером мире. Петр Толмачев и Якуб двигались навстречу бесконечным водам, отражавшим хмурые тучи, ехали молча, как лунатики, окунаясь лицом в плывущий над водной гладью туман, чувствуя, как безысходная тоска сжимает горло. «Бетпак-Дала» – шептал название этих заколдованных на вечные печали зимы мест Петр Толмачев, встречая из-под толщи воды голый взгляд верблюжьего черепа. Серебряный звон ещё долго плескался в ушах Петра даже тогда, когда бесконечные воды закончились, лошади вздохнули, ступив на твердую землю и стали жадно рвать зубами сухую траву. Теперь их дорога поворачивала на юг.

В Чимкенте – пограничной крепости на холме, окруженной пригородами – они снова увидели заснеженные горы и возрадовались, вновь ступив на цепочку верблюжьих следов Великого Шелкового Пути. Они переночевали в небольшой опрятной чайхане, прилепившейся к стене крепости, которую скоро снесет артиллерия генерала Черняева, и в её окровавленную, закисшую от дерьма, крови и страха цитадель во главе казачьих пластунов ворвется Петр Толмачев. Чайханщик предложил им незатейливые развлечения солдат и караванщиков в доме за чайханой, откуда несло клубами дыма анаши, угостил их вкусными лепешками и почему-то помолился за них.

А утром за ними увязались два казаха в нарядных чепанах с чужого плеча, которые сквернословили, как дышали, а переметная сума одного из них позванивала певучим высоким лязгом кандалов. Петр Толмачев обозлился и стал подумывать прирезать без шума плетущихся сзади попутчиков, но Якуб отговорил его, объяснив, что приставленные соглядатаи лучше утонченных восточных пыток под присмотром вежливого английского офицера в пробковом шлеме. Но присутствие таких попутчиков досаждало, как блевотина на одежде, и они добрались до Ташкента в самом мрачном настроении. То ли от их присутствия, то ли от многолюдья Петр Толмачев утратил ясновидческий дар, и теперь стал полагаться на дорожные указатели, а очнувшись от страстного порыва эмоций, вырвавшего его из тиши станицы и дурмана химе-

рических проектов, он признался себе, что не помнит Ксению совсем. Память воскрешала из образов прошлого полустертые пятна рыжих волос и маленьких грудей с отважными сосцами. И всё. Неотвратимое, как Смерть, время стесало её лицо и руки, и ненасытное, отчаянное лоно, когда-то выжавшее из Петра все силы, и теперь он ехал во вражье логово за смутным миражом, сопровождаемый кандалным звоном, и сомневался, что сможет узнать Ксению среди бесчисленных белых женщин невольничьих рынков.

Ташкент – молодой город на древней земле – вывел Петра Толмачева из оцепенения, потому что на въезде его окружили попрошайки с золотыми зубами, воняющие падалью, которых палками прогнали святые суфии и дервиши, скрывающиеся под чалмами красные и тяжелые от грязи платки презренных цыган-люли. Якуб разогнал их камчой. Но сразу же за воротами дороги Петру Толмачеву загородили кокандские конники. Ещё недавно в вечной пограничной войне они, как волки, шныряли под Верным, а сейчас, сразу узнав по посадке в седле казака, закипели бешенством. На высоких боевых конях, пахнущие кожей ремней, блестя бляхами и серебрянными рукоятями шашек, они стали окружать Петра Толмачева. У него от предчувствия смерти вдруг зазудела спина, а Якуб похолодел, признав в конниках знаменитых отвагой и бесстрашием ходжентских таджиков из-под Руми – Рима – потомков пленных римских легионеров, отстоявших эту землю от китайцев. Назревала безнадежная схватка, и уже стала собираться толпа, чтобы рвать на части тело неверного. Но спасение пришло вместе со звоном кандалов, когда два соглядатая смело подъехали к конникам и что-то коротко сказали. Выбравшись и плюнув Петру Толмачеву под ноги, конники уехали под недовольный гул разочарованной толпы. А ангелы-хранители, променявшие вольные кочевья в степях на грязный хлеб ханских ищеек, не стали даже слушать благодарностей Якуба, потому что общаться с подследственными им запрещала инструкция.

Якуб так и не признался Петру, сколько сил и денег стоило ему собрать вместе пятерых крупнейших работорговцев – подлинных владык этих мест, каждый из которых владел империей, раскинувшейся от коралловых рифов Занзибара до малярийных топей Сингапура. Они пришли в дорожную чайхану, где их поджидал Петр Толмачев, и не спеша – они никогда не спешили – омыли руки в воде, тихо вскрикнувшей при их прикосновении.

– Как выглядит твоя женщина? – спросил один из них.

Петр Толмачев напряг память, и из её темной глубины, там, где прячется детство, всплыл аромат волос Ксении, тяжелыми золотыми прядями закрывшими её лицо, когда она оседлала его мужскую суть.

– Я её совсем не помню. Но мне надо её найти.

И эта многотрудная встреча, должная по восточному обыкновению затянуться на долгие часы, была завершена в десять минут. Работорговцы заговорили между собой на арго, понятном только посвященным. Они, знающие людей лучше всех, потому что люди были их товаром, с одной фразы поняли мотивы поступка Петра Толмачева. Он не любил Ксению, и работорговцы, мыслившие ясно и безошибочно, ибо работорговля была опаснее войны и любая ошибка каралась смертью от собственного товара, поняли, что собеседника бросила в эту смертельную авантюру его гордыня и обостренная русская жажда справедливости, не дающая покоя, пока страдает невинная душа. Они оценили настойчивость и упорство Петра, и, умея мыслить в глубину, заговорили, что русские выиграют схватку за Азию, потому что их чувство справедливости и правды склонит к ним сердца местных простолюдинов, и они признают русских, чтобы вместе построить царство правды на этой дерьмовой, непрочной, как навоз, Земле, и вместе с русскими сломать шею в этом утопическом порыве.

– У нас нет товара с этого каравана, – сказали они Петру Толмачеву. И напроорочили: – Ты найдешь её, если она осталась жива.

Они ушли, оставив Петра Толмачева одного, в самом начале пути его славы. Он ушел из чайханы, перетирая зубами холодную ярость решимости, порожденную могучей жизненной

силой. Соглядатаи, увидев его лицо, решили, что он идет убивать их, и бросились бежать, но Петр Толмачев пошел на рынок рабов, где, не найдя Ксении, выкупил несколько русских невольников и продолжил свои поиски.

Решимость загнанного зверя, обжигающая Петра, разом вернула ему дар предвидения пути, и он пошел вперед, руководствуясь видениями, которые озаряли его, как вспышки, порой в самых неподходящих местах. Якубу, утратившему всякое влияние на него, досталась должность переводчика, верно сопровождавшего Петра Толмачева в его хаотических метаниях, лишенных всякой логики и смысла, но, как оказалось, не зряшных.

За несколько месяцев Якуб и Петр Толмачев ни разу не переночевали дважды на одном месте, освободили от рабства несколько тысяч человек всех рас и народов, потратив огромное состояние изумрудов без остатка так, что на обратном пути кормились подаванием добрых сердец и едва не утонули в молочном океане сентиментальной славы, еще несколько десятилетий преследовавшей Петра Толмачева и отравлявшей ему жизнь. А всё началось на уютных ташкентских улицах, где Петр Толмачев, уверовав в посещающие его видения нагих, скованных невольников и раскисших зимних дорог, которые облепляли его так неожиданно, что он наткался на прохожих, поносивших его рассеянность, направился к каким-то неведомым кишлакам и городам своих видений. Его даже перестал злить кандальный звон соглядатаев, которые вылезли из-за дувала и верно следовали за ним, но на уже большем, заметно почтительном расстоянии.

Короткими зимними днями они металась по Средней Азии без всякой цели, ведомые ясновидческими видениями, что впоследствии помогло им избежать нескольких покушений. Якуб не спорил и не сердился, поняв, что Петра Толмачева посетил разум ангелов, которые познают мир без цепочек логических рассуждений, а познают реальность мгновенно в прошлом и будущем, и доверился ему.

В своих странствиях они въезжали в кишлаки и в тихие городки, где мечети застывали в сонной тиши остановившейся Вечности, уверенно шли в чайхану и спрашивали у неторопливых узбеков, нет ли у них в поселке молодой русской невольницы с рыжими волосами, и ему приводили и итальянок, и гречанок, и русских, и немок всех мастей. Если в глазах читалась мольба о свободе или ненависть, Петр Толмачев выкупал, без сожалений расставаясь с серебром, обменным на изумруды. Вечерами невольницы рассказывали ему о невольниках в городке, если они были, готовых обменять жизнь за свободу, Петр Толмачев шел к владельцам и, не скупясь, выкупал сонных рабов-соплеменников, бредивших мстостью. Так за ним образовывалась свита, а когда число невольников достигало десятков трех, они шли к местному кадию-судье, при свидетелях оформляли им пожалование свободы и отпускали домой. А нелепые странствия друзей снова начинались сначала: чайхана-беседы-невольники-кадий. Только серебра в сумке убавлялось, но Петр Толмачев не думал об этом в кинематографической лихорадке своих видений. Он прошел от Ташкента до Оша и Джелалабада, даже забрался в горный кишлак Гульчу, где возвышалась скала-исполин в форме божественного фаллоса, которую столетием спустя русские строители памирской магистрали назовут скала «Ванькин хуй», и где реки несли камни и утопленников вверх, в горы, и зачем-то совершил второе кольцо по Ферганской долине, посещая всё те же чайханы. Иногда его тошнило от жирного плова и обязательного при беседе зеленого чая, он ненавидел тмин, который добавляли в местные лепешки, но он брел за видениями, потому что больше не было ориентиров, и терпеливо сносил чужую еду и непреходящую усталость дорог.

В редкие минуты между снами он чувствовал, как его исступленность, порожденная отчаянием, оборачивается против него самого, и спрашивал себя, зачем он всё это сносит, когда может повернуть обратно. Он не чувствовал к Ксении любви, она так и не зародилась в ту ночь, когда он играл с её грудями, а она хлестала его рыжими волосами, и нехотя признавал, что ему не нужна ни она, ни Лиза, ни семья, когда у него уже есть Ноев Ковчег, Якуб, драконы

и этот волшебный мир, но эти мысли рождали вспышки злости на самого себя, и он спешил провалиться в сон.

Его стала опережать молва искренне сочувствующих ему людей, нелепая молва, что молодой русский ищет свою любимую по всему миру. Когда он входил в чайхану, к нему оборачивались все, узнавая его, смуглые лица узбеков и таджиков расцветали приветливыми, сочувствующими улыбками, как больному, ему отводили лучшее место, подкладывали под бока подушки и вылавливали из казанов лучшие куски, истекающие жиром, а зеленый чай для него был очень крепок. А когда он уходил, впереди него летели рассказы, что глаза влюбленного русского не просыхали от слез, что он в забытьи шепчет стихи о красоте золотых волос любимой, что он дал клятву белому мулле, что в подлунном мире не останется разлученных сердец, и продал всё, до последней рубашки, и выкупает влюбленных невольников, и, забираясь, таинственно сообщали, что он не человек, а ангел, воплотившийся из хрусталя небесных сфер, чтобы этот скурвившийся мир вспомнил о любви, что он умирает от любви, и жив только мудрыми беседами и наставлениями Якуба Памирского, который тоже не человек, а существо, несомненно, сверхъестественное. Так Петр Толмачев и Якуб стали знаменитыми.

Якуб следовал за Петром Толмачевым, не мешая ему ни в чём. Лишь однажды, недалеко от Ходжента, он тронул его за плечо и указал на четырехугольные холмы и прямые валики, похожие на те, на каких построили Софийскую станицу. Они были светлыми от подснежников.

– Посмотри, Петя. Здесь остановили Александра Македонского. Это была Александрия Дальняя.

Якуб был мудрее Петра Толмачева и видел глаза людей, обращающихся на Петра, видел столетних, выживших из ума старцев, приползающих в чайхану, чтобы посмотреть на нового святого и скрипуче вещающих, что он сам не Якуб Памирский, а сопровождающий ангела святой Хызр – покровитель путников и спаситель от бед. Он-то знал, чем заканчивается почетный эскорт из женских голов, прикрытых паранджой, которые высывались из-за всех углов, стоило въехать в кишлак, и приветствующих Петра Толмачева восторженными и жалобными вздохами. То, чего всю жизнь избегал Якуб – нездоровое внимание общества – опять нагоняло его, грозя драгоценным бирюзовым куполом на гробнице.

А ошеломленный Петр Толмачев мало что понимал. Когда его собеседники обрели деликатность и предупредительность, словно общались с больным дурачком, он стал противен сам себе и озлобился, но своих метаний не прекратил, уверенный, что очередное видение выведет его всё-таки на Ксению или даст знак заканчивать постыдные поиски. Молодой, по-казацки резкий Петр Толмачев не понимал, что его приход смущает людей, стыдящихся собственной черствости, которую они обнаруживали в себе, что женщины под паранджами плачут и благословляют Петра Толмачева, и он уже давно стал местным святым. По Чачу, Фергане, Мавеннахру и Бактрии – всюду уже ходила слава о нём, о его любви, милосердии и сострадании к невольникам. Вскоре соглядатаев уже стало шестеро, и двое из них были знаменитыми наемными убийцами с нарезными английскими винтовками в руках. А предупрежденные молвой о его приходе крестьяне и горожане, туман иллюзий которых облачал Петра Толмачева в святую бледность страданий, сами едва сводившие концы с концами, скидывались своими грошами и вручали их Якубу. Он деньги брал, но решил поговорить с Петром, видя, что мелочь они жертвуют, но дорогие вещи продают, а за невольников торгуются отчаянно, часами, боясь продешевить. Он, много повидавший и ещё больше почерпнувший из книг и ночных бесед с мудрецами, знал, что ни одна власть не потерпит в своих владениях странствующего святого, волнующего народ.

Но разговора не получилось. Узнав, что в кишлаке русских невольников нет, а Ксении никогда и не было, они тут же убрались из чайханы и заночевали в брошенном сарае, где при их появлении из гнилых балок пошел дождь из личинок насекомых, а в темных углах зашелестело тонкое шипение новорожденных змей.

– Весна, – пробормотал Якуб.

Петр Толмачев постелил кошму на пол и через пятнадцать минут снова убедился, на какую настойчивость способны влюбленные женщины. Его вырвало из вечного мира видений дыхание на своем лице и блаженный аромат, жарко вздыбивший его мужскую плоть, он увидел во тьме, а потом ощутил в руках большие податливые груди, тонкие ободки колец на всех её пальцах щекотали холодом его плечи, и даже распахивая лоно, она шептала, что ходила за ним, как собака, и поджидала мига целую неделю. Эта женщина – её звали Шахло – светилась от мимолетного счастья и пылала, зажженная даже не конской силой Петра Толмачева, а холодностью и слабостью мужа, который сейчас храпел с младшей, четвертой женой, и не знал даже, что третья жена уехала лечиться на целебные воды. В перерыве между приливами страсти она ласкала Петра Толмачева материнскими ласками, и он понял, что его жалеют за несчастную любовь, и был даже доволен, когда она ушла. Весь следующий день он спал наяву и не слышал предупреждений Якуба.

На следующую ночь по лучу лунного света, льющегося в оконце завшивленного караван-сарая, явилась молодая женщина, почти девочка, с тонкими лягушачьими ногами и темными бороздками слез на лице. Слезы она лила с того дня, когда её продали в гарем к отвратительному старику-татарину. Её отчаянная страсть спасла ей жизнь, удержав от самоубийства – она уже припасла большой кувшин керосину, чтобы сжечь себя, лишь бы татарина не видеть, но и она жалела его и даже всплакнула над его несчастной любовью. Петр Толмачев на этот раз не разозлился, забавляясь её лягушачьей щуплостью, мягкими костями и поразительной отвагой смело принимать удары мужчины, сминавшие, как губку, её тельце, испускающее мускусный запах пота. Она зашипела на Якуба кошкой, когда, разбуженный возней, он поднялся с пола, попросила его убраться и тут же продолжила теревить Петра ласками.

Петр Толмачев ни до, ни после не пользовался таким успехом у женщин, как когда скитался по Средней Азии в лживом ореоле святого мученика. Теперь-то он узнал, что девушки мечтают переспать с популярным человеком, с тем, чьё имя на устах. Каждую ночь к нему приходили женщины. И он принимал всех, потому что убедился, что женское лоно – самая глубокая дыра забвения. Его сводили с ума видения грядущих дорог, иногда посещающие его даже когда он мочился, видения, несущие вначале новизну и надежду, а теперь же порядком обесценившиеся, никчемные и пустые. Его опустошали бесцельность странствий и слава, облепившая его, как грязь, мучили москиты, поднимающиеся с сияющих под розовыми закатами идеалистических рисовых полей, и от вшей уже не спасала шелковая одежда. Но стоило проскользнуть к нему женщине, как вся эта тяжесть уходила, словно воспаряла к потолку вместе со стонами. Они все приходили во тьме, а уходили до рассвета, не оставляя ничего, кроме умиротворения, разбитости и вечного желания спать, отгоняющего дурные мысли. За Петром Толмачевым уже бродили какие-то женщины в черных платках, трясли в исступлении чалмами мрачные бродяги, прибивались дервиши, а Якуб закрывал глаза и видел химеры нелепых домыслов, сползающие к ним.

– Всё повторяется. Я стал ваш Иван Креститель, а ты сам он. У евреев хватило сил терпеть его три года, – сказал тогда на привале Якуб.

В тот день его встревожило, что шестеро соглядатаев пропали. Без уже привычного мелодичного позвякивания кандалов ему стало неудобно, и ясно вспомнился двор Стамбульской тюрьмы. Якуб провел бессонную ночь, вперив глаза в пустоту и вспоминая всех пророков, которые теперь в его воображении имели черты Петра Толмачева, даже безобидный, кроткий Христос, совсем непохожий на потомственного казака. Он вспомнил и лица власти: от первого царя времен и до правителей бухарских городков, похожих на разжиревших гусениц – и с трепетом понял, что ни одна власть не потерпит на своих землях странствующего святого, ибо праведность вредна власти.

Тревоги Якуба разрешились ещё до рассвета. Этой ночью Петр Толмачев грешил с полной узбечкой, пахнувшей жасмином, которая пришла к нему за избавлением от бесплодия. Некто проник под стену сарая, засунул в окно ствол винтовки и выстрелил. Некто перепрыгнул через дувал, где его ждала лошадь с копытами, обмотанными тряпьем, и перевязанной мордой. Лошадь вдруг взвилась на дыбы, и некто упал с седла, размозжив голову о камни. На него пришел посмотреть Петр Толмачев, весь залитый кровью узбечки, которой пуля разорвала аорту, и в сердцах пнул труп ногой, дав знак восточной толпе наброситься на убийцу и растерзать тело в клочья. Петр Толмачев ушел из кишлака через час, оставив на память о своем пребывании могилу узбечки и насаженные на пику голову и гениталии убийцы.

Но даже пролитая кровь не сломила упрямого Петра Толмачева. Он продолжил бродить за своими видениями, порой даже забывая о Ксении, и с унылой тоской ждал новых покушений. Но никто его не трогал, предоставив ему беспрепятственно собирать нищую дань сострадания в кишлаках. Власти его уже боялись. В Бухарском эмирате и Кокандском ханстве назревало недовольство, и убийство этого странного русского святого могло отозваться кровавым восстанием бедного люда, обозленного поборами англичан и властей. Тем более он был ещё и подданным белого царя Николая, перед которым трепетал весь мир. Ползли и ширились слухи о чудесах Петра Толмачева: в кишлаках, где он побывал, выздоравливали безнадежные больные, бесплодные семьи заводили детей и открывались источники вод, благоухающих розами и изгоняющих нечистую силу. Словом, наступало напряженное спокойствие – все знали, что Петр Толмачев обречен, но и все знали, что любой, посягнувший на святого, обречен, ибо таков закон Всевышнего: погубивший святого сам погибает в тот же день и прямым путем следует в ад.

В маленьком оазисе на окраине песков Каракумов, где Алексей Толмачев, сын Петра, одержит победу над афганской армией, Петр Толмачев выкупил двух невольников: рыжего пожилого солдата Николая и молодого немца Гюнтера, отправившегося на поиски счастья из Тюрингии в Азербайджан. Якуб достал из кожаного мешка горсть серебра и показал его Петру.

– Это последнее, – предупредил он.

– Ну и черт с ним, – ответил Петр Толмачев.

На следующий день, это была среда, он посетил местного кадия Алишера, который тут же, без обычных судебных проволочек и обязательных поборов, даже пнув писца, чтобы тот пошевеливался побыстрее, оформил выкуп невольников. Отпустив пленников, Петр Толмачев с толпой последователей двинулся на север, вслед за видениями лодок на огромной мутной реке. Река была только одна – Амударья – и он, даже не прислушиваясь к инстинкту пути, поехал между огромными барханами, погружая коня по грудь в высокую молодую траву, кишевшую насекомыми и птицами. Упоенный весенней пустыней, он не заметил, как к вечеру добрался до небольшого спящего поселка на окраине живой, благоухающей травами пустыни.

В тиши захолустья, болотно пахнувшего мокрым бельем, он вдруг вспомнил своего деда, Петра Толмачева, и его безумства на смертном ложе, вспомнил его уроки о том, как убивать людей. «А ведь я – его повторение» – подумал Петр Толмачев и загрустил, вспомнив, как далеко он от своих драконов. Он лег спать, но поднялся через пять минут, потому что пришел тонколицый подросток-каракалпак. «Твоя Кисения идет с невольниками по реке» – заявил подросток и вызвался проводить Петра Толмачева. Подросток был дурачок и рассказал Якубу, что его послали какие-то мужчины, очень любящие русского святого. У Якуба от дурного предчувствия сжалось сердце, когда Петр Толмачев непоколебимо заявил, что он поедет, потому что наконец-то перед ним забрезжил выход из безумного вращения странствий. Бросив изнавающую женщину, казашку Айгуль, которая только-только натерла тело индийским бальзамом, безжалостно расставшись со своей свитой, он и Якуб умчались вслед за подростком в темную пустыню.

На берегу Амударьи его ждали семь всадников. Шестеро из них потели от страха, а седьмой – англичанин Энтони Коуэн, майор Ост-Индийской армии – нервничал, но не выдавал своих волнений, скрыв их под броней холодного презрения. Он пришел сюда из любопытства и тщеславия, чтобы потом в гостиных Дублина развлекать дам рассказами о безумном белом азиате, которого дикари объявили святым. Когда Петр Толмачев и Якуб были схвачены, а плачущего подростка наградили могучим пинком вместо обещанного колокольчика, англосак решил развлечься.

«Возьмите его на прицел» – приказал англичанин, и обожженные дула ружей направились на Петра Толмачева, который заметно побледнел, но убийцы приняли белизну его лица за свет святости и растрогались. «Отпустите его» – приказал он державшим Петра Толмачева. И добавил: «Если дернется – стреляйте».

Он подошел к Петру Толмачеву, ещё не зная, о чём спросить этого русского, удивившего его своей молодостью и вполне трезвомыслящим видом, и скорее с изумлением принял могучий удар в висок и землю, обрушившуюся на него. Петра Толмачев, не могущий продохнуть от бешенства, который вызвал у него ясный облик Ксении лезущей в окно, и одним ударом, которым научил его дед, сжался, с лихорадочным любопытством ожидая пламенных ударов пуль, и увидел огромные зрительные ряды, рукоплещущие ему после опасного номера. Что-то кричал Якуб под аккомпанемент истерического плача дурачка. Дыры винтовок одна за одной стали опускаться.

– Слава Аллаху, – сказал наемный убийца, казах Канат. – Ниже по реке начинается земля хана Хивы, там ваши. Здесь рядом мы можем взять лодки.

Так закончились странствия Петра Толмачева. Он вернулся в Софийскую станицу на исходе весны, когда осыпались лепестки тюльпанов, и с пустынь уже дышало зноем нарождающегося лета, такого же знойного, как все сто пятьдесят лет, отпущенных Софийску. Он въехал в Софийскую станицу ночью, один, опустошенный неудачей, стыдящийся фальшивой святости, униженный перед собой и презирающий свои видения, оказавшиеся пустыми, как миражи. Ему было стыдно. Якуб бросил его в Верном, восхищенный молодым чудом дагеротипии, даровавшей ему колдовское могущество запечатлеть знаки Ноева Ковчега на посеребрённых пластинах, что превращало тысячи пудов деревянных страниц в компактный архив, доступный в любой час для размышлений и расшифровки. На его первом снимке был запечатлен Петр Толмачев, смотрящий в мир пронзительным взглядом, каким он остановил Колпаковского, решившего просить для него Георгиевский крест за освобождение соотечественников. Снимок получился мутным, и Петр Толмачев не узнал самого себя в молодом двадцатипятилетнем казаке, пристально и устало смотрящем из запечатленного, остановленного химической реакцией светописы времени. Ему почудилось, что Якуб своим колдовским всемогуществом вызвал из мира Смерти его деда, Петра Толмачева, вернувшего себе молодость в мире мертвых. Но Якуб рассмеялся и успокоил Петра, который, так ничего и не поняв в загадочных процессах в недрах фотокамеры, в одиночку уехал из Верного, и проделав долгий путь по девственной и пустынной земле, въехал в Софийскую станицу в темноте и возрадовался, что гора с Ковчегом остались на месте. Войдя в потемки дома, он окунулся в новые запахи цветущей сирени и женского тряпья и смутился учиненному разгрому, свидетельства которого проступали сквозь тьму. Только громоподобный бой часов-комода, да родной свист ветра на перевале успокоили его. Он отыскал на ощупь постель и уснул. А когда по казачьей привычке проснулся вместе с солнцем, подумал, что ему на роду суждено быть дураком, и что судьба написана на досках Ковчега, и надо ждать её с каждым восходом солнца, а не метаться по чужим землям, расшвыривая чужие изумруды, рядясь при этом в юродские одежды святого неведомой веры. На постели сидела Ксения и гладила его по спине. А когда золотистый утренний свет, благоухающий росистыми тюльпанами, затопил всю комнату, Петр Толмачев увидел, что Ксения беременна.

В XXVII веке Яик был сточной канавой всей русской земли, и никто не удивился, когда в станицу в его низовьях прибыл донской казак Василий Некрасов, ещё недавно осаждавший Москву вместе с атаманом Баловнем, и сбежавший от неминуемой виселицы. С собой он привез молодую жену – утонченную польскую дворянку Болесту, неведомо за что беззаветно любящую страшного, одноглазого Василия. Некрасов был толковый казак и отличился в грабежах на Волге и в Персии, стал рыбачить и выгодно торговать ворованным скотом из степей, и быстро нажил состояние. Жить бы ему в счастье и казацкой воле на границе Европы и Азии, но поползли по казацкой линии слухи, что лихой атаман занимается с молодой женой чем-то странным и недобрым, прознал народ, что мерзкое творится за закрытыми ставнями его дома. Тем более молодая полька всех злила, как Мария Мнишек, часто рядясь в мужскую одежду и гарцуя на коне по пескам, в церковь ходила, но на исповедях не была, страха не знала и своих роскошных золотых волос платком не закрывала. Достойные женщины уже шептались, что Василий ей ноги целует, ну, и не только ноги. Василий заметил, что шепчутся у него за спиной.

– Вот сволочи, пронюхали всё-таки, – говорил по утрам жене истерзанный Василий.

– Пускай. Станут наглеть – заткнем глотки хамам, – отвечала Болеста, пряча сладостный и мучительный инструмент и снова поворачивая иконы, всю ночь смотревшие лицом в стену.

– Казаки не хамы, – обижался за товарищей Василий.

И продолжал жить в станице безбедно, нежа свою жену, которая родила ему сына, но не изменилась, оставаясь отважной. Народ в казацких станицах был отчаянный и непокорный, никакой власти не признающий, даже церкви в станице не было, и погрязшие в грехах и беззакониях казаки свыклись со странностями Василия. Только однажды на казацком кругу Петр Ерохин, обозленный, что походным атаманом в очередной набег выбрали не его, а Некрасова, выкрикнул:

– Да его полячка нагайкой в зад трахает!

Василий Некрасов подошел и нагайкой сбил с головы Ерохина папаху, вызывая его на поединок. Вся станица столпилась вокруг них, но только Ерохин выхватил шашку, как клинок Некрасова с невероятной силой и точностью обрушился на него, выбив шашку, а следующим ударом Некрасов рассек ему горло.

Поскольку это был честный поединок, казачий круг простил Василия, только сильно разозлился и наложил на него епитимью священник, отец Нестор, прискакавший отпеть покойника, и под утро увидевший, как выполз из дома на четвереньках пьяный Некрасов, повязанный платочком, а на нём верхом сидела голая Болеста с плетью в руках. И когда Ксения наделала шуму, сбежав от жениха к Петру Толмачеву, в станице вспомнили её развратную прапрапрабабку, и в сердцах припомнили всех бунтарей-поляков, травящих колодцы, разводящих холеру и портящих казаков. Но Ксения, по игре природы получив внешность и мужество Болесты, не унаследовала её губительных наклонностей к садомазохизму, от которых мало-помалу ослабел и зачах Василий и как-то рано умер. Красивая, с изумрудными глазами, смотревшими на мир твердо и ясно, она расцвела как-то разом, в один день, и явила миру утонченную красоту польской аристократки. Умная, хотя и неграмотная, любимица отца, натурой она была скрытной и твердой, и удивила всех, отдав сердце Степану Толмачеву – могучему семипудовому самцу с бычьей шеей, на радость казакам завязывающему тремя узлами кочергу, гнувшему дулей серебряные пятаки, и от кишечных выхлопов которого трещали и слетали с гвоздей доски жалкого сортира. Несмотря на приятный вид, соображения у него явно не хватало. «А зачем мне от казака мозги? У меня свои есть» – отвечала Ксения подружкам и навещала со Степаном сеновал, где тормозила покорного бугая, вешала ему на уши бусы, а в нос клипсы, учила его ласковым словам и заставляла носить себя на руках.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.